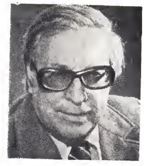
Лев Ошанин



ИЗ БАМОВСКИХ БЛОКНОТОВ

✪

Все, что БАМу обещано,
Через горы и лес
Полоса Благовещенска
Принимает с небес.

Все торопится что-нибудь
В наш дорельсовый год
Вертолетами по небу
В Тынду или в Могот.

По февральскому следу,
По крутому лучу
Я прибуду, приеду,
Я к тебе прилечу.

Сначала небо,
Земля потом.
Но вот и простились мы с небесами.
Самолет вяловато поводит винтом,
Как таракан усами.

✪

Ты ушел в погоню за мужской судьбою
В темноту январских дней.
Если бы в дороге я была с тобою,
Было бы тебе светлей.

На чужих дорогах счастья не догонишь —
Смыто холодом дождей.
Мне твои мужские жесткие ладони
Кажутся всего нежней.

Прошепчи свой адрес — будь сегодня щедрым.
Кинь на птичьи голоса!
Горы и овраги, яблони и кедры —
Все имеет адреса!

К снежным перепадам, к рекам-непоседам
Я к тебе приеду, я к тебе приеду.
Жди меня к закату, жди меня к рассвету—
Я к тебе приеду, я к тебе приеду.

✪

Когда они у мира на виду
В Якутию шагнули от Могота,
Писал я в семьдесят шестом году
Про их великолепную работу:

Есть у бригады Новика свой стиль.
Он станет ясен всем, мало-помалу,
Когда войдет серебряный костыль
В тугую, неподатливую шпалу.

Костыль вплился досрочно. Путь открыт.
Разъезд Якутский в звездном снегопаде.
И вот уже поселок Муртегит
И станцию моя бригада ладит.

Они преобразуют этот мир,
Их на пути никто не остановит.
Приветствую тебя, Владимир Новик!
Где ты сейчас, мой друг и бригадир!

✪

С. Пекарскому,
председателю исполкома
города Тында.

Здесь, в краю незаселенном,
По размытым берегам
Государством был вагонным
Молодой ударный БАМ.
Но шагает жизнь упрямо
Без оглядки.
И уже
Мы сидим в столице БАМа
На девятом этаже.

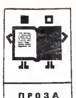
✪

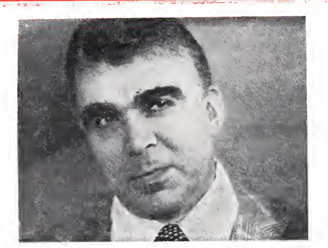
Рвется моряк в непокорство морей.
Летчику счастье в полете дано.
Ты не держи меня лаской своей,
Я ведь уйду все равно.

Буду шагать в черноту, в синеву.
Будет дорога крута и груба.
Ты уж прости, я тебя не зову —
Это мужская судьба.

Уйду в январь, уйду в весну.
Вернусь однажды, не постучась.
За три беды перешагну,
Тогда придет он, мой звездный час.

Буду носить тебя в сердце всегда.
А не дождешься душой молодой,
Что же поделаешь,— это тогда
Будет четвертой бедой.





Виссарион
СИСНЕВ

ПЕРВЫЙ ПУД СОЛИ

ПОВЕСТЬ

Рисунки
Б. ЖУТОВСКОГО.

I

Ночное дежурство начиналось в семь. Света, как обычно, пришла на четверть часа раньше, но застала в дежурке только своего напарника Ефима, чернобородого, черноусого студента, работавшего медбратом.

— Больных, небось, полно? — спросила Света, расправляя на себе жесткий от крахмала халат с голубым вензелем «С. С.» на верхнем кармашке.

— Ну.— Ефим, раскладывавший на белом столе учебники и конспекты, обернулся: — Рождество же...

Три года работала в больнице Света и уже привыкла к странной закономерности: после религиозных праздников в желудочно-кишечное отделение везли больных с отравлением, особенно алкогольным.

— И чего они, эти алкоголики, такие религиозные? — подосадовала Света.

Ефим громко засмеялся.

— При чем тут «религиозные»? Это они закуской с непривычки травятся. В будни-то под занюх пьют... Кстати, пилюли раздашь? А то у меня долбежки невпроворот,— попросил Ефим.

Взяв поднос с порошками и микстурами, Света поинтересовалась:

— Тяжелые есть?

— Один, тот, что сразу за дверью, с капельницей. За ним я сам погляжу. Похоже, может не дотянуть до Нового года.

— Отравление?

— Ну. Инженер, с какой-то ГЭС специально прибыл, чтобы к нам загреметь.

В широком коридоре отделения — по одну сторону окна, по другую двери палат — теснились больщики вокруг шахматистов и тайных картежников, с уходом врачей переставших делать вид, будто они просто беседуют.

— А-а, красавица наша наконец появилась! — встретили Свету возгласы из группки, столпившейся у туалета.

Прекрасно понимая цель этой лести, она строго велела курить там, где положено,— в туалете.

Но, идя дальше, она все-таки не удержалась и искоса посмотрела на свое отражение в окне. Красавица не красавица, но и не хуже многих.

Когда два года назад Света влюбилась по-девчоночьи, до беспамятства в Толю, такого же студента-медбрата, как Ефим, она, тогда восемнадцатилетняя, считала, что с Толей у нее вся жизнь пройдет. И вдруг Света разлюбила; сразу же, сама сказала, что больше не придет к нему, пусть не ждет. Толю это ошарашило: его, такого видного парня, без пяти минут хирурга, притом потомственного — известными хирургами были его дед и отец,— без особых объяснений, что называется, вчистую отшивают. Толя перешел в другую больницу, но про их роман, естественно, на работе у Светы знали все. Света же не предавалась размышлениям о правильности своего поведения. Для нее была естественной близость с любимым человеком, а поняв, что больше его не любит, она без всяких сомнений рассталась с ним.

Когда Света распределяла лекарства в последней палате, к ней подошел долговязый худощавый старик, добровольно выполнявший функции помощника ночных дежурных — он страдал бессонницей,— и доложил, что тяжелый хрипит и задыхается. Света разбудила лечащего врача, дремавшую на кушетке в докторской, достала по ее указанию кислородную подушку, и потом они все втроем с час хлопотали вокруг инженера, пока пульс не наладился.

Ефим со своими конспектами расположился у изголовья кровати в коридоре. Света, заглянув в книгу регистрации, установила, что отравившийся инженер постоянно проживает в поселке Нижние Чомы, а зовут его Георгием Владимировичем Маковкиным. Странное название «Чомы» пробудило какие-то неясные воспоминания, но какие именно — размышлять было недосуг.

2

Когда Света проснулась, дома никого не было. Отец и мать еще не вернулись с утренней смены, Мишка и Алешка, ее братишки-близнецы, уже уехали, чтобы успеть к началу второй смены. Из новой квартиры в Мневниках до завода, где, кроме Светы, работали все Скворцовы, нужно было добираться больше часа. Но увольняться с «родовой вотчины» ни отец с матерью, ни братья не желали. Иван Петрович Скворцов величал свой завод вотчиной потому, что там всю жизнь трудился его отец и двое дядьев, а позже туда определились он сам и его старший брат Антон. Так что восемнадцатилетние Мишка и Алешка были третьим поколением токарей Скворцовых. Правда, им оставались в цехе считанные деньки: вот-вот ожидались повестки из военкомата.

Спала Света недолго, но проснулась отдохнувшей, это была ее счастливая способность — восстанавливать силы за пять-шесть часов сна. Сковывала ее, мешала быстро вскочить и энергично заняться утренними делами не усталость, а какая-то вязкая лень, смешанная с неясным ощущением недовольства собой.

Она медленно села, опершись обеими руками о постель; потом сунула ноги в тапки и, как была, в сорочке, принялась бесцельно бродить по квартире. Долго, как чужую, разглядывала собственную фотографию, сделанную три года назад, в день, когда она окончила курсы медсестер.

Своей профессией Света была довольна, она делала такое же реальное дело, как отец и мать, как Мишка с Алешкой. Никто ее не неволил поступать именно на эти курсы после восьмилетки, но ей стало ясно, что следует поскорей становиться на собственные ноги: троих ребят отцу с матерью тащить трудно.

Света смотрела на фотографию: лицо круглое, а брови, слава богу, не рисованные, природные и дугой, как у боярышни. Глаза могли бы быть и побольше и лучше б синие, а не карие...

Поленившись хорошенько нагреть чайник, она налила себе чуть теплого чаю, сунула в рот кусочек сахару и с чашкой в руке остановилась у кухонного окна.

Вид открывался изумительный. Их пятиэтажный крупнопанельный дом был крайним в квартале, стоял в сотне метров от Москвы-реки. Сразу за асфальтовой дорожкой к узкой полоске берега спадал крутой обрыв...

Света, как и все Скворцовы, считала, что после многих лет, прожитых впятером в одной комнате, в разваливающемся доме, им привалило счастье; еще и теперь, пять лет спустя, они не совсем свыклись. Как же — три комнаты, кухня, ванная, большая кладовка, или «катушок», по терминологии матери.

Со старой квартиры ничего, кроме телевизора со столиком, на новую не повезли: не хотелось тащить этот толстоногий, потемневший, разнокалиберный хлам. Постепенно обзавелись всем нужным в каждой из трех комнат. Только библиотеку пришлось разместить на самодельных полках.

С четвертого этажа хорошо видно, как плавно изгибается в берегах белое полотнище Москвы-реки, как мелькают на нем разноцветные пятнышки — лыжники. На противоположном берегу, за реденькой цепочкой дачных домиков, лес, настоящий, густой, до самого горизонта. Можно ли было поселиться в лучшем месте!

Но сегодня Света, глядя в окно, вместо обычного прилива радости испытывала щемящее чувство обиды неизвестно на кого или на что. Уходящая за горизонт бело-зеленая лесная гуща не ласкала глаз, не успокаивала, а, наоборот, почему-то усиливала неприятное, несвойственное Свете состояние...

Братцы ее удались в отца — спокойные и неторопливые, они любили мастерить, читать, особенно фантастику, и подолгу о чем-то тихо между собой беседовать. Света думала — о девчонках, но случайно подслушала· говорят о каком-то двигателе, который сами изобретают.

Света злилась на них:

— Буйволы ленивые! Да я бы на вашем месте все на свете объехала, а вы только и бубните про свой двигатель, ничего вокруг себя не видите, Москвы не знаете. Да любой командировочный за три дня больше Москву узнает, чем вы. Нет, мам, ты подумай, скоро по восемнадцать балбесам стукнет, а они ни разу в Третьяковке не были. С ума сойти!

Как Света на братьев, так Ольга Васильевна иногда шумела на мужа, что весь век сиднем просидела с ним на месте, дальше садового участка у Петушков не выбиралась, так и помрет, Ленинграда даже не увидавши. И сама Света понимала, что грызет ее временами: такой большой мир, такой большой Советский Союз, и чтоб всю жизнь — вот оно, «всю жизнь!» — не вырваться из Москвы дальше Петушков! Господи, ведь не обязательно быть геологом или журналистом, можно и медсестрой поработать где-нибудь на краю света...

Толя часто рассуждал о том, что современный человек должен не только добросовестно выполнять свои служебные обязанности, но и непременно «очищать себя искусством», потому что иначе нынешний супертехнический век рано или поздно превратит его в исправно функционирующий, но лишенный эмоциональности механизм.

«Очищаться искусством» она потребности не испытывала, не понимала, наверное, что это такое. Она просто любила ходить в картинные галереи и на выставки. Приохотил ее, надо отдать ему должное, Толя, он был ходячим справочником по искусству.

И все-таки как же? Неужто и вправду ей всю жизнь вот так: с дежурства домой, из дома на дежурство? А люди тем временем будут куда-то ехать, лететь, плыть... Кстати! Этот инженер Маковкин — вот почему ей показалось знакомым название поселка, из которого он приехал,— он же, значит, со строительства Нижнечомской, самой северной в стране гидроэлектростанции. Отец однажды вечером все удивлялся, читая в газете статью о ГЭС, как они там, на таком морозе, кладут бетон.

...В прихожей щелкнул замок входной двери.

— Мам, ты? — крикнула Света.

Отозвался сипловатым тенорком отец:

— Мы, ясное дело, мы, а ты кого ожидала?

Света, спохватившись, что все еще разгуливает в полупрозрачной ночной сорочке, побежала накинуть халатик.

3

На самом берегу средней Оби вытянулось небольшое село Белый Яр. Село, как все сибирские села: избы, крепкие еще, хотя прадедами рубились, почернели от времени; между избами — простор, кричать с крыльца надо, чтобы на соседском крыльце услыхали. Зажиточность определяется по крыше — там хозяин хорош, где железо крашеное на крыше.

Изба Копенкиных была крыта железом. Это семейство, в котором родилось и выросло к началу Отечественной войны пятеро сыновей, славилось из поколения в поколение плотницким мастерством. По окрестным селам и в самом Белом Яру глава семейства Михаил Гаврилович Копенкин сначала с братьями, а потом с подросшими один за другим погодками-сыновьями поставил не одну пятистенку, не один коровник да амбар.

На войну ушли все сыновья, а вернулся один Гавриил, старший, которому в июне сорок первого стукнуло двадцать четыре. Явился он после Победы целехонек, хотя без единой лычки на погонах прошел с сибирской стрелковой дивизией, принявшей первый бой в декабре сорок первого под Москвой, аж до Праги. На солдатской гимнастерке у него вспыхивала золотым огнем Звезда Героя Советского Союза.

Вскоре проведать знатного земляка зашел тогдашний председатель райисполкома. Похлопал его по плечу и спросил:

— Как с работой себе мыслишь, Гаврила Михалыч? Ты у нас человек заслуженный, единственный Герой в районе, подберем что-нибудь подходящее.

— Ежели заслуженный, тем более на «вы» надо,— насупившись, ответил Гавриил Михайлович.— А работа у меня есть, слава богу, плотник я.

Тут проявился хорошо известный в Белом Яру копенкинский норов, с которым предрайисполкома, как человек приезжий из иных краев, не был знаком. Копенкины всегда гордились, что люди они мастеровые, работающие не за награду, а за совесть, и никому, хоть ты десять раз начальник, спуску не давали, если считали себя в чем-то задетыми. Копенкинский дед Гавриил Михайлович — старший в роду у них был либо Михаил, либо Гавриил — в старые, царские времена, рассказывают, обидевшего его купца сгреб да потыкал губами в свой сапог, чтоб впредь знал, кто кому ноги целовать должен: купец что-то там на этот счет высказал.

Женились Копенкины, как правило, поздно, потому братья Гавриила Михайловича вдов не оставили, а сам он сыграл свадьбу через год после демобилизации. Взял соседскую Аришу, на целых десять лет моложе себя. Но это тоже заведенный обычай у копенкинских мужиков.

В сорок восьмом в молодом семействе появился первенец, ни на отцовскую, ни на материнскую породу не похожий. У Копенкиных все смуглые, чернобровые, с горбатым носом — вроде как в них кавказская кровь подмешана. Арина Федоровна и ее родня тоже все как один темной масти. Сын же у нее уродился с на диво густыми — то-то ее изжога последние месяцы мучила — и светлыми, почти седыми волосами. Все село ходило дивиться на это чудо, и уж быть бы на селе пересудам, да только при всем необычном цвете волос мальчишка удивительно походил на отца, с первого взгляда видно было. Поскольку копенкинская преемственность в каком-то смысле оказалась нарушенной, то и с именем первенца отец с матерью разрешили себе вольность: нарекли его не Михаилом, как требовала традиция, а Александром. Михаилом стал следующий сын, родившийся через три года, как и положено, брюнетом.

Александр — звать его стали Шуркой — вымахал выше и крупнее отца, а волосы у него так и остались светлыми, близкими к седине. Однажды приехали в село с концертом артисты из области, и бывшая меж ними чтица-декламаторша, приметив Шурку, восторгалась: «Вылитый Садко! Вы посмотрите, товарищи, вот кому играть бы, а не Столярову».

Окончив восьмилетку, Шурка стал помогать отцу и до призыва в армию освоил родовое ремесло во всех тонкостях. Военный комиссар, взвесив это обстоятельство, направил его в инженерные части. Там освоил он новое для Копенкиных дело — опалубку. А это совсем не так просто, как покажется несведущему человеку. Разместить товар и связать из него короб, чтобы залитый в него бетон точно соответствовал заданию проектировщиков,— это требует смекалки, точного глаза, настоящей рабочей добросовестности. И еще нужно быть закаленным и азартным человеком: работать приходится при любой температуре, не войдешь в азарт — скиснешь на полдороге.

После таких масштабов — мосты и некоторые сооружения особого характера — Шурка возвращаться в Белый Яр не пожелал. Приниматься опять за избы и телятники показалось скучным. Услыхал, что набирают специалистов на строительство Нижнечомской ГЭС, и подбил дружка-однополчанина Димку Ивлева завербоваться. Конечно, это тебе не Братская и не Красноярская станции и вообще не гигант пятилетки, но тоже не лишний энергоузел в сибирском хозяйстве.

Написал отцу и матери про свое решение, пообещав, что, как только обживется на новом месте, выпишет их к себе: хотят — повидаться, а хотят — так и насовсем. Ответное письмо было не то чтобы обиженным, но и не ласковым. Отец благодарил за приглашение, но выражал такое мнение, что у каждого человека, как ни мечись по свету, должно быть свое родное место. У них с матерью такое место — Белый Яр, там они и помирать собираются, когда срок настанет. А если Шурик по-другому рассуждает, то это, конечно, его молодое дело. В гости же пусть лучше он к старикам родителям приезжает, тем более что младшего его брата тоже вот-вот призовут и останутся они одни в своем доме. После рождения Мишки Арина Федоровна стала болеть и больше детей мужу не принесла, чему он в душе очень огорчался, но ее не тревожил, говорил: ему самое главное, чтобы она была жива-здорова.

В поселок гидростроителей — таежную деревушку Нижние Чомы, разросшуюся за счет рабочих бараков, Шурка с Димкой попали не к шапочному разбору. Реку еще только собирались перекрывать, а на участке основных сооружений и вовсе оставалось начать да кончить. Начальник этого участка инженер Маковкин, расспросив Шурку и узнав, что плотник он потомственный, не менее как в пятом колене, назначил его бригадиром, велев подобрать таких же молодых ребят из демобилизованных. Откровенно сказал, что среди плотницкой братии на стройках часто попадаются шабашники-выпивохи, поэтому, мол, необходим для них правофланговый, на кого все будут равняться.

Переглянувшись с Димкой, Шурка солидно ответил, что боевая задача ему ясна, а помощником своим он просит назначить Ивлева, отличника боевой и политической подготовки, комсомольца. Маковкин возражений не имел. Он, видно, крепко надеялся на Шуркину помощь, потому что им с Димкой на второй же день выделили койки в переполненном общежитии, в комнате на четверых.

Поработали для начала и землекопами и грузчиками, но к тому моменту, когда участок основных сооружений подготовили для бетонных работ, бригада у Шурки уже сколотилась и даже успела както притереться: бок о бок не один куб грунта вынули.

Начальник участка и в дальнейшем свою линию вел упрямо, не отклоняясь. Один раз вызвал Шурку к себе в самую горячую пору к назначенному часу, а зачем, не сказал. Поднявшись в «предбанник» вагончика, где помещался штаб начальника участка, Шурка услыхал из-за дощатой перегородки такой разговор:

— Понятно...— это голос чем-то недовольного Маковкина.— Боюсь только, таких людей, каких вам нужно, на моем участке нет.

— Ну, а какие, по-вашему, нам люди нужны? — не без насмешливости поинтересовался незнакомый Шурке молодой голос.

— Да уж известно, какие,— ворчливо ответил Маковкин.— Чтоб человек, скажем, на шагающем экскаваторе работал да еще три пятилетки одним махом выполнил. Вот тогда вы напишете. А мы строим здание электростанции, у нас люди скромных профессий — арматурщики, бетонщики, опалубщики... Кстати, об опалубщиках. Тут ко мне сейчас один парень должен заглянуть, бригадир опалубщиков,— вот про кого писать нужно, вот кого поднимать. Ребята у него как на подбор, из демобилизованных, работают спокойно, ритмично, почета и славы не требуют, да и вообще о таких вещах не думают. Вот о ком писать надо,— повторил начальник участка.— О простых, скромных работягах. Представьте, у этого Копенкина деды и прадеды плотничали. Сибирь-матушку обстраивали, отец тоже плотник и, между прочим, Герой Советского Союза. Это, если хотите, соль земли нашей. Погляжу, не там ли уже Копенкин.— Высунувшись в «предбанник», Маковкин поманил Шурку: — Заходи. Наши дела после обсудим, а тут вот у меня сидит корреспондент областной газеты товарищ Хлебников, у него к тебе ряд вопросов. Можешь ему уделить часок? — Не дожидаясь Шуркиного ответа, обернулся и сообщил: — Может. Тогда вот что. Я сейчас все равно иду в бригаду, так вы тут у меня и побеседуйте. А потом ты, Копенкин, сведи товарища корреспондента к своим ребятам, покажи, что у вас за работа.

В отсеке начальника, у его стола сидел молодой человек в очках, при галстуке — наверное, повязал для солидности. Очень уж он был худ и веснушчат. Но внушал к себе симпатию. Так состоялось Шуркино знакомство с Валей Хлебниковым.

Валя написал о Шурке и его бригаде большой очерк, начинавшийся довольно точным пересказом разговора-перепалки с инженером Маковкиным, который назвал своих опалубщиков да арматурщиков «солью земли». Очерк так и назывался «Соль земли».

Когда бригаде Копенкина чуть не самой первой вручили вымпел с золотыми буквами «Бригада коммунистического труда», в газете появилась специально ей посвященная корреспонденция того же Хлебникова, и почти во всех последующих корреспонденциях о ГЭС Валя старался в той или иной связи упомянуть фамилию Копенкина. Так началась дружба и слава Копенкина и Хлебникова — каждого в своей сфере.

Съездить к родителям Шурка в первый год так и не собрался. Выполняя сыновний долг, как это было возможно в его условиях, посылал домой деньги, а также газетные вырезки и выписки из приказов о премировании и вынесении благодарностей. Насчет денег отец написал, что они с матерью, конечно, благодарят, но пока, слава богу, не нуждаются, и все переведенное складывают в сберкассу на его, Шуркино, имя. Когда он вернется да надумает собственное хозяйство заводить, тут ему эти деньги и сгодятся. Что же касается статеек из газет и прочего, то мать съездила в район и купила в универмаге альбом и туда теперь их наклеивает вместе с Шуркиными фотографиями.

Но если по производственной и по общественной линиям у него все было в полном ажуре, то в личной жизни никак не клеилось. Просто не везло ему, несмотря на его привлекательную наружность и известность.

На самой стройке в Нижних Чомах девушек мало, и никто из них ему что-то не приглянулся. Они с Димкой по воскресеньям, ранним утренним автобусом или, если мест не хватало, попутной машиной укатывали по таежной просеке в город. Там шли либо в чей-нибудь клуб, либо в Парк культуры,

где имелся танцзал «Шестигранник». Видимо, это были не самые подходящие места для знакомства, а может, они с Димкой выбирали не тех, но связи их все были мимолетными и девушки малоинтересными. Раза два-три встретятся, и до свидания...

4

Все, что Света видела в вагонное окно, было ярким, радостным: много-много солнца и крупнозернистого снега, от радужных вспышек которого глазам делалось больно. Стена елей то будто кидалась на приступ, подбегая к самому вагону, то вдруг отодвигалась, открывая веселую, изумрудную зелень там, куда доставало солнце, а в тени оставаясь густо-синей, почти черной.

Но Свету все это не очень-то веселило. В хорошо натопленном вагоне ее познабливало, она сидела, накинув на плечи пушистый платок. Очевидно, начала сказываться ее легкомысленная выходка, когда она на каком-то таежном полустанке без пальто побежала вслед за попутчиками покупать мороженые ягоды.

Она щурилась на снег, стискивала зубы, чтобы не заклацать ими на все купе, и думала, как бы ей не угодить с ходу пациентом в ту самую больницу, в которой она собралась работать. Едва ли ведь в этих Нижних Чомах есть второй «комбинат здоровья». По крайней мере инженер Маковкин упомянул только один — он так назвал нижнечомскую больницу. Та еще больничка, наверное. Да откуда в такой глуши таежной и быть другому, только вместе с ГЭС и появится цивилизация. Надо же — всю жизнь без электричества существовали нижнечомчане. И некоторые еще, Маковкин рассказывал, недовольны тем, что нарушено их первобытное существование.

Странно, что ее настроение, эта самая «охота к перемене мест» совпали с тем, что инженер с Нижнечомской ГЭС приехал в столицу, съел какую-то дрянь и оказался у нее под надзором. Правда, настоящий надзор, в самую тяжелую первую ночь осуществлял Ефим, а Света увидела Маковкина в следующее дежурство, уже в полном сознании, слабого, но охотно вступающего в разговор. Света спросила инженера, не лихорадит ли его; если начнет, пусть не пугается, после капельницы такое часто случается. Он ответил, что все в порядке, и попросил ее, когда она будет посвободнее, позвонить от его имени по двум или трем телефонам, а также послать телеграмму его жене.

— В Нижние Чомы? — спросила Света насмешливо: название звучало комично.

— Откуда вы знаете? — удивился было он, но тут же сам понял: — Ну да, документы же... А вас, я вижу, мое местожительство развеселило? Напрасно, напрасно. Место редкостное по красоте, можете мне поверить. Вот представьте себе...

И он ровным, деловым тоном обрисовал ей окрестности Нижних Чомов с точки зрения специалиста, замечающего и запоминающего малейшие детали местности. В его рассказе тайга, река, ее правый и левый берега имели четкие параметры. Тайга от ближайшей железнодорожной станции, откуда прокладывали ветку к стройплощадке, тянулась сплошняком столько-то километров; средняя ширина реки такая-то, а в месте перекрытия такая-то; высота левого гранитного берега, где находится участок основных сооружений, такое-то количество метров. Света так и не поняла, шутил он с ней или всерьез давал столь странную, «строительную» характеристику тем краям.

Только покончив с параметрами, он добавил, что рыбы, птицы и зверя в округе — тьма-тмущая. Иногда, бывало, на зорьке — это еще, конечно, в палаточный период — выглянешь наружу, а на отлогом берегу, смотришь, лось красуется — на водопой пришел, людей не боится, потому что никогда прежде их не видал. Случалось, и медведь забредал на кухонные ароматы.

Слушая его, Света ясно поняла, что она должна поехать в Нижние Чомы. И инженер Маковкин — это не иначе, как «знамение свыше». Ее рассмешило, что пожилой мужчина, обросший за дни болезни пегой, с густой сединой щетиной и носящий какую-то несерьезную фамилию, может быть знамением.

Через десять — двенадцать дней Света погрузилась в транссибирский скорый и отправилась в Нижние Чомы.

...На новогодний праздник она в компанию друзей не пошла, захотелось встретить его с родными, дома: кто знает, когда опять придется. Отец с матерью удивились — она с ними уже, пожалуй, года четыре ни на один праздник не оставалась. Света все откладывала разговор с ними насчет отъезда, и вышло так, что он состоялся на самый Новый год, едва пробили куранты...

— Что это за Чомы? — спросила мать.— Где это места такие чудные?

Света объяснила и, допив для храбрости свой фужер с шампанским, призналась, что хочет туда поехать — причем, видимо, в самое ближайшее время.

— Да зачем тебя леший туда несет? — удивилась мать.— Уж понимаю, в Братск бы или на этот самый на БАМ, что ли, а то... и не выговоришь: «Чомы».

Света обрадовалась, что сама ее идея у матери протеста не вызвала. Впрочем, она и ожидала сопротивления не столько от матери, с ее «цыганской» натурой, сколько от домоседа-отца.

Он и в самом деле очень расстроился. Только-только оба сына ушли в армию, а теперь еще дочка надумала убежать, и они с матерью совсем одни на старости лет останутся. У Мишки с Алешкой хоть причина уважительная, а ее-то, мать верно сказала, леший, что ли, из дому тащит? Ежели там больше платят, так всех денег не заработаешь. Ей бы не летать туда-сюда, а основательно в жизни определиться. Перво-наперво десятилетку добить, а там, глядишь, и в институт попробовать. В общем, утверждаться надо, а не мыкаться без толку.

Иван Петрович, всю жизнь трудясь на одном заводе, считал это правильным и как истинный, кадровый рабочий глубоко презирал тех, кому все равно, где работать. Он любил повторять и в цехе и за праздничным столом, что работа в жизни человеческой такое большое место забирает, такое большое — хуже и несчастья нет, чем заниматься нелюбимым делом. Человек сам себя уважает, если на совесть делает свое дело, а коли себя не уважать, то зачем и жить тогда!

Он до того разгневался на дочкину затею, казавшуюся ему легкомыслием, что и провожать ее на вокзал не поехал.

...Об одном жалела Света, приближаясь к цели своего четырехсуточного путешествия, что постеснялась попросить у Георгия Владимировича Маковкина какое-нибудь, как говорилось в старину, рекомендательное письмо.

Когда Света уезжала, ему предстояло еще провести в больнице не менее месяца: курс лечения,



затем четыре контрольных анализа. Света повыспросила у него кое-какие дополнительные сведения о Нижних Чомах, но не призналась, что делает это по сугубо практическим соображениям. Если родной отец не понимает, то чужому человеку уж совсем трудно объяснить.

Маковкин рассказал ей, что по одноколейной ветке от города до стройки дважды в день — утром и вечером — ходит рабочий поезд: многие работающие на строительстве ГЭС живут в городе. На утренний поезд она не успевала, а если прибудет в Чомы под вечер, то неизвестно, куда и постучаться, чтоб хотя бы переночевать. Может, правда, сразу в больницу явиться? Наверное, так и придется сделать, авось, «свою» приютят.

Размышляя и наблюдая, как тени на снегу за окном вагона делаются длиннее и гуще, Света все крепче стискивала зубы, чтобы унять дрожь.

5

До больницы Света добиралась в полной темноте. Следуя указаниям встречных, она, подгоняемая крепким, градусов за двадцать пять, морозом, быстро дошагала от платформы-времянки до длинного рубленого барака, где помещалась больница. Таких, совершенно одинаковых бараков понаставили по соседству со старыми, приземистыми избами собственно Нижних Чомов великое множество. Больничный отличался от всех прочих лишь фанерной вывеской «Поликлиника», висевшей над входом.

Пока дошла до места, Света поняла, что ее московские сапожки на суконной подкладке здесь не годятся, без ног останешься с таким пижонством. Первым делом придется где-то раздобыть валенки, иначе хоть обратно поезжай. Разве что медсестрам выдают казенные...

Дверь больницы была заперта. Света постучалась, и сейчас же в ближайшем ко входу окне шевельнулась занавеска, старуха в белой косынке и с поднятыми на лоб очками приблизила лицо к стеклу. Она же и отперла дверь. Оглядев Свету, спросила:

— Ну, чего? Рожать, что ли?

— Нет, что вы...— начала Света.

Старуха перебила:

— И то гляжу, непохоже по животу. Давай заходь, простудишь меня совсем, ну тебя к лешему.— Она опять задвинула на двери засов, пояснив: — На провѐд середь ночи другой раз лезут. А то еще к вертихвосткам нашим хахали на свиданку являются. Здоровы, как быки, чего им о больных беспокоиться.

В теплом белом зальчике, где вдоль стен стояли стулья, старуха опять спросила:

— Ну, так чего у тебя?

Смущаясь под ее суровым взором, Света объяснила, кто она и зачем сюда попала.

— Из Москвы? — недоверчиво переспросила старуха. — А пачпорт есть? — Ознакомившись с паспортом, она приотворила дверь, ведущую внутрь больницы, и позвала: — Лидка! Тьфу, Лидия Никитична!

Тут в глазах у Светы все поплыло, и она бессильно опустилась на пол.

...Очнувшись сутки спустя в одиночной палате, она узнала, что у нее двустороннее воспаление легких. Дорого ей обошлись мороженые ягоды в начале новой жизни. Она вдруг пришла в ужас: мама там с ума сходит, решила, наверное, с ней стряслось что-то страшное — столько времени никакой весточки о прибытии.

Тут вошла в палату врач Лидия Никитична, и Света умоляюще попросила ее помочь — сделать как-нибудь, чтобы немедленно отправить в Москву телеграмму: «Доехала благополучно. Все нормально. Подробности письмом». Лидия Никитична с улыбкой ответила, что такая телеграмма уже отправлена: Света в бреду без конца повторяла этот текст.

— Ой, спасибо, Лидия Никитична! — обрадовалась Света.

— Чего уж там,— сказала врач, присаживаясь рядом с ее койкой,— можно и без Никитичны. Я ведь всего на четыре года тебя старше. Только не при посторонних, идет? И так уж мой авторитет тетка Анфиса подрывает. Я из института только-только, вот она меня и не желает признавать. Она соседка наша, с люльки меня знает.

Лида оказалась легким, смешливым человеком, большой охотницей поболтать о всякой всячине. Она была высокая, с длинной косой, красивая.

За две с половиной недели, проведенные в больнице, Света узнала всю ее не слишком сложную биографию. Родилась Лида в Нижних Чомах, отец, как и все мужчины в деревне, лесоруб. Возможно, из-за него и подалась в медицину: раз он сильно поранил руку, и шестилетняя Лида слышала ночью, как отец во сне плакал и стонал,— ей так было жалко отца, не знала, как ему помочь, облегчить боль. Отец хотел, чтобы Лида получила образование, и пристроил ее на квартиру в городе; получила аттестат зрелости и потом поступила в медицинский. Летом приезжала домой. Перед концом институтской учебы возле Нижних Чомов начали закладывать ГЭС, и Лиду распределили в родную деревню. На том берегу параллельно с объектами ГЭС сооружается городок для будущих рабочих и инженеров заводского комплекса. Туда, в поликлинику городка, Лида с мужем переберутся на постоянное жительство.

— Ты замужем? — неизвестно почему удивилась Света.

— Уж я и замуж не гожусь? — в шутку обиделась Лида.— Совсем темнота, кочерга деревенская? А я, между прочим, очень даже мужчинам импонирую.

— Не сомневаюсь ни капельки. Небось, в институте табуном за тобой бегали.

— Ну уж, в институте. В мединститутах знаешь как, восемь девок — один я. Н-но в общем и целом, без кавалеров мы и в институте не грустили. А вот замуж вышла — отец чуть нас обоих из дома не погнал.

— Почему? — снова удивилась Света.— Замуж ведь, не просто так...

Выдержав длинную паузу, как бы что-то обдумав, Лида спросила:

— Тебя Аркадий Павлович, главврач, смотрел?

— Поджарый такой, седой?

— Ну уж, седой! С сединой...

— Значит, смотрел. А что?

— Это мой муж.

— Он твой муж?

Света не сумела бы скрыть удивления, даже если б успела об этом подумать и постаралась: главврач был лет на двадцать старше Лиды, то есть, в Светином понимании, просто старик. Лида — хохотушка говорливая, а этот Аркадий Павлович — прямой, будто палку проглотил,— пока осматривал Свету, двух слов не проронил и не улыбнулся, а как-то криво усмехался. Неужели симпатичная, открытая сибирячка Лида пошла за него замуж по какому-то расчету? Но тогда ей бы выбрать не того, кто сюда,

в барак ехал, а такого, чтобы с научным званием, с большой должностью в городе, с богатой квартирой...

— Раздумываешь, как меня угораздило? — определила ее мысли Лида.— Так вот, чтоб тебе не гадать, я сама скажу: случись с ним что-нибудь или уйди он от меня, руки на себя наложу. Поняла, Светочка моя дорогая?

Беседа была ночной, на Лидином дежурстве, поэтому, наверное, она и говорила без смущения вещи, о которых днем даже двоим почему-то неловко говорить.

— Ох, Светочка,— продолжала она задумчиво,— не ты одна удивляешься. А я и жить-то по-настоящему начала с того только момента, как мы с Аркадием вместе. Он мне, знаешь, как говорит? Что вот день прошел — и никогда его уже не вернешь. Просопливилась этот день, прокапризничала, убила на глупую ссору — считай, укоротила себе жизнь.

— Что ж вы, не ссоритесь никогда? — недоверчиво спросила Света.

— Ссоримся, конечно, но не из-за котлет. Вот он мне позавчера, например, заявляет: стыдно детективчики читать, когда времени так мало, а ты еще тысячной доли настоящих книг не прочла. А я устала после дежурства, ничего другого в голову не лезет, отвечаю ему: где уж мне с моим эмбриональным интеллектом настоящие книги понимать. А он: это верно, мол, но все же нужно стремиться к идеалу. «Идеал — это, конечно, ты?» — спрашиваю. «Естественно,— отвечает,— я». Знаю, что он просто дразнит, но все равно обидно. Наорала на него, самой стыдно стало. Я же понимаю, что он не унизить меня хочет, наоборот, наверх тащит, чтобы ему тоже со мной интересно было, не только как с бабой. Ах, как я теперь себя ругаю — столько времени потеряно на танцы да романцы. Аркадий-то каждую свободную минуту читает. Это, говорит, чушь, когда оправдываются недостатком времени для чтения. У человека либо есть такая потребность, либо нет.

Света слушала, затаив дыхание, понимая, что у Лиды выплескивается то, что ее, видимо, давно переполняет и чем она до сей поры ни с кем не могла поделиться.

А ведь женщине, чтобы счастье было совсем полным, необходимо поведать о нем кому-то доброжелательному.

Это Света знала по себе.

После того разговора Света тайком всматривалась в главврача, стараясь уяснить, что такое в нем видно Лиде, чего не разглядела она, Света.

То есть это ей казалось, что тайком. Главврач однажды огорошил ее при сопровождавшей его свите:

— Вы что это каждый раз меня словно под микроскоп помещаете? Или я вам напоминаю какого-то беглого преступника?

И опять не улыбнулся даже.

Он, конечно, не мог подозревать, что Света знает кое-что о нем, не только как о главвраче, и продолжил:

— Понимаю. Приглядываетесь к будущему начальнику? Ну-с, так могу вам сообщить, что начальник у вас будет зверь. Верно, Анна Васильевна? — обернулся он к пожилой старшей сестре.

— Верно,— без тени улыбки подтвердила та.

Он такого не ожидал и, еще раз взглянув на нее, неопределенно хмыкнул. Свете, удаляясь, пообещал:

— О ваших перспективах мы потолкуем особо.

6

Собеседование с «будущим начальником» состоялось за день до того, как Свету выписали. Аркадий Павлович пришел под вечер один, без обычного сопровождения, и стал сначала выспрашивать о Москве, о театрах. Видимо, он не очень надеялся на развернутую информацию, потому что, когда Света, справившись со смущением, довольно подробно рассказала ему о театральных премьерах, а заодно и о последних выставках на Кузнецком мосту и в Манеже, Аркадий Павлович посмотрел на нее как-то странно и сказал: «Вас, милая девушка, просто нельзя упускать».

Но, по существу, разговор закончился неутешительно для Светы. Главврач сказал, что, к сожалению, больничный штат сейчас полностью укомплектован, расширить его хотя бы на одну единицу нет ни возможности, ни нужды: эти строители — народец удивительно крепкий, о чем, кстати, свидетельствует тот факт, что в такой маломестной клинике Света лежит в палате одна, в городе же это попросту невозможно. Он предложил ей следующий вариант: она поступает на временную работу в клуб, где требуется библиотекарша. Зарплата там невелика, но не ехать же ей обратно, раз уж она по своей охоте забралась так далеко. С заведующим клубом Кульковым уже все обговорено. Мужик ничего, но немножко мямля, а в этих условиях нужен завклубом—трибун. Как только поликлиника на той стороне вступит в строй, Света немедленно зачисляется в ее штат.

У Светы не хватило духа честно сказать, что когда здесь начнется оседлая жизнь, когда строители ГЭС передислоцируются на новый объект, она скорее всего последует их примеру.

Во время их беседы сухощавое лицо главврача с подстриженными усами не меняло выражения, голос оставался ровным. И все-таки в его словах улавливалась ирония — не злая, не насмешливая; так может говорить выдержанный человек, обладающий чувством юмора.

Уходя, уже распахнув дверь, главврач помедлил и сказал:

— Да, вот еще что. Очевидно, вам нужно где-то поселиться. Палатку вы с собой захватить не догадались, не так ли? Не беда, в палатке, пожалуй, было бы несколько холодновато с непривычки. Что-нибудь придумаем, может быть, Лидия Никитична за вас словечко замолвит перед своими уважаемыми родителями. Поскольку вы направлялись именно к нам, в больницу, а не куда-то еще, мы, очевидно, несем за вас определенную моральную ответственность. Короче, товарищ Скворцова, волноваться не нужно, все станет на свои места. Рано или поздно.

Все начало становиться на свои места уже со следующего дня, когда Лида, забежав к Свете, сообщила, что Свету выпишут сразу после обеда и они вместе пойдут к Лидиным старикам. Пусть Света у них немного поживет, вдруг ей понравится, хотя это маловероятно, характеры у них обоих не дай бог. Не случайно Лида с мужем и живут отдельно от родителей, в комнатке при больнице. Отцу, видишь ли, обидно: мечтал, что единственная дочь, получив высшее образование, выйдет замуж за молодого писаного красавца и останется жить в городе, а они с матерью станут гостинцы внучатам привозить. А оказалось, вместо зятя ему достался, как он выразился, пенсионер, да еще негодящий — раз его в городе-то не держат, в тайгу заслали. Отца,

между прочим, сейчас дома нет, второй месяц где-то на дальней вырубке сидит. Из строителей они никого к себе не пустили, так что мать сейчас одна и ей квартирантка просто доставит радость.

Лида, пробыв несколько минут в доме родителей, ушла обратно на работу, и Антонина Павловна заговорила со Светой громко и, казалось, сердито.

— Спать будешь тут,— указывала она пальцем,— вещички сложишь здесь. Умывальник в сенях. Неделю поживем, друг на дружку поглядим, сойдемся — дальше жить станем, не сойдемся — зад об зад, и в разные стороны.

Света твердо решила, что посвятит эту неделю поискам другого жилья, без таких генералов в юбке. Спросила, какой она должна дать задаток. Антонина Павловна, будто ждала повода, раскричалась:

— Какого это еще задатку? Мы что — постоялый двор? Пока, слава тебе, господи, живем в достатке, в пиличках не нуждаемся. Ишь, богатейка выискалась — задатки раздает! Сидела бы лучше в своей Москве, мать в слезы не вводила,— закончила она неожиданно.

Света взялась за пальто и твердо сказала:

— Знаете что, Антонина Павловна, где мне сидеть и где не сидеть, решать мне. А если вам пилички не нужны, то и до свидания, я вам не навязываюсь.

— Ишь, ишь,— усмехнулась хозяйка и отобрала у нее пальто.— Недаром вы с Лидкой-то схлестнулись, тоже характерная. Ну, ладно, давай чай пить, что ли.

Света не ушла из ее дома ни через неделю, ни через месяц, ни через три месяца. Крикливая Антонина Павловна на самом деле была добрейшим человеком. Заботилась она о Свете, как раньше о ней заботилась только мать — без просьб, без напоминаний, повседневно, во всех житейских мелочах. А в награду требовала от Светы лишь рассказов о том, что ей привелось видеть в Москве.

Недели через две, всего на сутки — помыться в бане да сменить белье — появился хозяин, Никита Ерофеевич. Ростом он чуть пониже жены, но в плечах широк, ладони громадные; лицо коричневое — всю жизнь под открытым небом. Со Светой говорить совсем не пожелал, на сообщение жены, кто она и как у них очутилась, кивнул и все.

Когда он ушел мыться, Света спросила:

— Сердится, что я тут?

— Ему-то что, грязь соскребет и опять на вырубку. Он сроду молчальник, я с ним намучилась, не приведи господи.— Подумав, Антонина Павловна добавила: — Молчальник-то молчальник, а насчет баб такой зверь лютый был — ни одна устоять не могла.— Антонина Павловна произнесла это с оттенком гордости — вот, мол, какой у нее мужик на привязи оказался.

...Света начала работать в библиотеке. Клуб помещался в таком же бараке, что и больница. Основную его часть занимал длинный зал со сценой. Там по субботам показывали кино, после чего скамейки перетаскивались на сцену и начинались танцы. Библиотеки, как таковой, еще не было. Пахли смолой некрашеные полки, между ними стояли ящики с книгами, а организовать из всего этого библиотеку предстояло Свете.

— Как же так,— возмущенно сказала она завклубом Кулькову,— сколько месяцев уже ГЭС строится, людей сколько понаехало, а им до сих пор книжки взять негде.

— Очень им нужны ваши книжки,— вяло огрызнулся молодой, но какой-то анемичный Кульков.— Им танцы подавай да поп-литра.

— Ну, эти сказки вы мне бросьте рассказывать,— резко возразила Света.— Раз работяги, значит, они ничем, кроме танцев и поп-литра, и интересоваться не могут? А уж книжки вы будете читать, «элита»?

— Не клейте мне ярлык, это теперь не в моде,— по-прежнему вяло сказал Кульков.— И делайте что хотите, раз вы такая энтузиастка, я все равно покидаю этот благословенный край. Я ведь тоже москвич,— улыбнулся он грустновато.

— Сюда по распределению?

— Сам напросился, дурак.

— В чем же дело?

— В здоровье, товарищ Скворцова, вот в чем. С инвалидностью уезжаю.

— То есть?

— Травма черепа и ряд аналогичных моментов. Не приглянулась моя физиономия двум питекантропам с квалификацией бульдозеристов. Так-то, товарищ Скворцова. Народец тут есть и такой, что только-только из-за решетки. Поэтому постарайтесь ночью в темных местах не гулять. А лучше всего, пока я вашу трудовую книжку не проштамповал, садитесь на поезд и езжайте-ка обратно к папе-маме. Не для нас с вами тутошняя романтика, сами убедитесь.

— Не пугайте меня, пожалуйста, я не из пугливых,— храбро заявила Света, чувствуя, однако, что от рассказа Кулькова по спине побежали мурашки.— Конечно, хорошего мало, когда такое случается, но это ведь где угодно может случиться.

— Может,— согласился Кульков.— Но здесь шансов побольше. Раз в пятьсот. Честное слово, поедемте вместе в Москву, а? Как в «Трех сестрах»: «В Москву, в Москву!» Не хотите?

— Не хочу.

— Ну, тогда будем надеяться, что вы более везучая, чем я, ваш земляк.

— А что, я правда везучая.

Сказав так, Света на всякий случай постучала костяшками пальцев по письменному столу.

7

Две недели при самом напряженном рабочем дне ушло на распределение книг по полкам. Хорошо еще, что у Светы был кое-какой опыт — в школе работала в библиотечной бригаде. А когда все наладила, выяснилось, что часы работы библиотеки проходят почти влустую. Наведывалось три-четыре человека, как правило, из административно-технического состава.

Разговорившись с одним из них, Света узнала элементарнейшее, но не приходившее ей в голову объяснение: когда библиотека открывается, гидростроители уже на участках, когда она закрывается, они только-только успели себя привести в порядок и поесть. Света потребовала, чтобы Кульков изменил часы работы библиотеки, сделал их, скажем, с трех до десяти. Завклубом возразил, что без санкции областного управления культуры он ничего менять не может: за вечернюю работу положена иная ставка. Света сказала, что согласна на ту же ставку, но Кульков уперся. Сейчас вы, мол, согласны, а потом вам что-то не понравится — по судам затаскаете. Тем не менее пообещал связаться с облуправлением, но предупредил — история затянется надолго.

Тогда Света надумала ездить по бригадам — сегодня брать заявки, а через день привозить книжки. Была в ее затее и личная «корысть»: таким путем она могла на законных основаниях облазить всю стройку. Ни одобрить, ни запретить ее инициативу Кульков не решился:

— Как хотите. Таскайте, если уж вам в тепле не сидится. На вашу личную ответственность.

Поначалу появление девушки, повязанной крест-накрест пуховым платком, с большой сумкой, набитой книгами,— сама стачала из куска брезента,— вызывало на объектах веселое недоумение, шуточки, частенько весьма двусмысленные. Но скоро к регулярным визитам книгоноши привыкли, брали книжки и похваливали: вот, мол, молодчина девушка, могла бы торчать у себя в клубе, а она ног не жалеет. Глупые шутки прекратились после того, как она отбрила одного за другим двух зубоскалов. Слух о Светином злом языке разнесся по бригадам, и охотников острить на ее счет больше не нашлось.

Света радовалась, что не зря она коптит сибирское небо, и искренне переживала, если что-то препятствовало очередному путешествию через дамбу.

Один раз, недооценив сгоряча мартовскую стужу, Света пошла через дамбу пешком, удивляясь, что не было на ней обычного потока самосвалов. Не появлялись же они потому, что мороз перевалил далеко за сорок — даже для тех мест небывало суровый март.

На дамбе к морозу добавился налетавший с реки ветер, и скоро у Светы осталась лишь одна мысль: как бы погреться... Выбравшись на противоположный берег, она, к счастью, попалась кому-то на глаза, и он — Света не разглядела кто, сама еле шла — затащил ее в обогревалку. Там ей дали полстакана какой-то прозрачной жидкости, велели выпить залпом. Она выпила, и через несколько секунд у нее внутри будто что-то вспыхнуло и сильно обожгло — это был чистый спирт. Света заплакала от боли, потом уснула.

Под вечер ее разбудили, усадили в кабину самосвала и отвезли домой. Антонина Павловна, услыхав от шофера о ее приключении, по обыкновению раскричалась и долго стращала историями о замерзших и заблудившихся в тайге. Взвесив в руке брезентовую сумку, сказала вроде бы сурово:

— С этим вот и разгуливаешь? Дурья голова завсегда ногам покою не дает, право слово. Ты, может, и на вырубку смотаешься, старику моему книжечку снесешь?

К ужину Антонина Павловна, расщедрившись, достала своих великолепных соленых грибков, хранимых к празднику, их с оказией присылала младшая сестра, жившая, как говорила Антонина Павловна, «в России». Хозяйка знала, что квартирантка любит грибы. В ответ на ее благодарность отшутилась:

— Чего там, раз выпила, гриб — первая закуска.

Через несколько дней после этого произошел со Светой другой случай — тоже на том берегу.

Вылезла она со своей сумкой из самосвала у диспетчерской и сразу услыхала площадную брань. Неподалеку стояли два человека: один — пожилой, в темном полушубке с поднятым воротником, другой — высокий молодой парень в коротком, распахнутом, несмотря на мороз, ватнике. Из-под ватника виднелась неподпоясанная гимнастерка.

Парень, потрясая какой-то доской, наступал на того, другого, и орал, сопровождая каждую фразу матом:

— Ты что мне возишь? Ты что мне возишь? Это лес? Это лес, по-твоему? Вот этим дерьмом я должен, по-твоему, обвязывать всасывающую трубу? Гроб тебе и то из него не получится!

— Погоди, погоди, не ори,— поднял рукавицу пожилой.— Лес кондиционный...

— Кондиционный?! — задохнулся парень.

Свете хотелось заткнуть уши, не слышать того, что выпалил парень. Но неожиданно для себя самой она положила сумку с книгами на снег и подошла вплотную к верзиле, от которого валил пар. Посмотрела ему прямо в глаза и сказала негромко:

— Как тебе не стыдно?

Тот, что был в полушубке, воспользовавшись моментом, скрылся в диспетчерской, буркнув напоследок:

— Как же, постыдится он...

Парень по инерции закричал и на нее:

— Ты еще откуда выскочила?

Тут Света вспомнила его, это же Копенкин, бригадир лучшей бригады опалубщиков. Среди его ребят у нее были читатели, сам же он ни разу содержимым ее сумки не поинтересовался. При ближайшем рассмотрении физиономия у этого здоровенного детины оказалась совсем не хулиганская. Света так ему и сказала:

— Эх ты, такое интеллигентное лицо, а ведешь себя...

— Что? — опешил тот.

Света, не отвечая, подняла сумку и зашагала по котловану.

— Сидела бы дома, у мамы под юбкой! — прокричал он ей в спину.

За ними наблюдали шоферы и грузчики. Света обернулась и разочарованно протянула:

— А-а, да ты, оказывается, просто дурак...

А в следующую субботу Света увидела этого «дурака» в клубе, в президиуме, на вечере бригад коммунистического труда. Разные люди, знакомые и незнакомые, выходили на трибуну и говорили, как они стараются жить и работать по-коммунистически. Дошла очередь и до Копенкина. Он выбрался из-за стола президиума, чистенький до блеска, в пижонском коричневом костюме, облокотился о низковатую для него трибуну и начал складно и весело рассказывать о своей бригаде. Получалось, что у них не только полтораста процентов выработки, но и вообще каждый человек в бригаде — нечто среднее между ангелом без крыльев и членом общества по распространению политических и научных знаний...

Неожиданно для самой себя Света подошла к сцене и попросила слова. Председатель постройкома Зайцев удивился, но сказать ей дал.

Начала она с того, что члены бригад коммунистического труда просто обязаны быть развитыми людьми. А это прежде всего значит любить книгу. Между тем некоторые, в частности из бригады выступавшего здесь товарища Копенкина, гораздо чаще появляются на танцах, чем в библиотеке.

Шурка из президиума подал реплику:

— Свои книжки имеются.

Тогда Света обрушилась прямо на него. Она усомнилась, что книги — если он их действительно читает — чему-то учат товарища Копенкина. Иначе ей бы не пришлось стать свидетельницей безобразной сцены у диспетчерской: отнюдь не литературный был разговор.

В зале прокатились смешки, когда она рассказала об этой сцене.

Шурка уже не подавал реплик и сидел в президиуме красный, как его собственный галстук.

— Нет, товарищи,— закончила Света, презрительно глянув в сторону Копенкина,— я считаю, что по-

требности так ругаться не может быть вообще у нормального человека, а тем более у такого, который говорит, что он живет по-коммунистически.

Люди посмеялись и поаплодировали. Пришлось и Шурке для видимости поработать ладонями.

8

После того вечера, когда библиотекарша Скворцова осрамила его на весь белый свет, Шурка был уверен, что она отныне будет держаться подальше от него. И просто вытаращил глаза, увидав ее на следующий день в двух шагах от себя — как всегда с сумкой, наполненной книгами.

Она весело помахала ему:

— Привет, товарищ бригадир!

Шурка повернулся к ней спиной. Тогда она сказала Димке, стоявшему рядом:

— Знаете, когда моим младшим братишкам-близнецам, бывало, всыплют за что-нибудь, они вели себя точь-в-точь, как ваш бригадир. Им, правда, лет по восемь тогда было, в третий класс бегали.

Димка прыснул, но под злым Шуркиным взглядом сделал вид, что закашлялся. Шурка обернулся к Свете и громко произнес:

— Зря вы сюда ходите, милая барышня. Тут люди работают, ушибетесь, чего доброго. Шли бы, ей-богу, в парикмахерскую, что ли.

Света поглядела на него пристально и вздохнула:

— Интересно все-таки, какой ты, Копенкин, на самом деле. Жаль, если действительно недоумок. Такая фактура зря пропадает.— Она окинула его взглядом с головы до ног и ушла.

Димка, отвернувшись, прятал смех.

— Фактура...

С тех пор Света, появляясь в Шуркиной бригаде, его самого не замечала.

Но все-таки родители наделили его не только «фактурой». Понял, что ведет себя не умно. Конечно, не этой москвичке «благородных кровей» поучать его уму-разуму, но он же сам сделал из нее серьезного противника. А она всего-навсего девчонка, конфетки бы для нее покупать, а не дискуссии с ней разводить. В очередной ее визит он с добродушным видом подошел и предложил:

— Давай мириться, а?

Света заулыбалась.

— Да я и не ссорилась.

Потом он действительно каждый раз угощал ее конфетами — ребята язвили: задабривает, боится ее.

Так оно и шло до самой таежной весны, до того воскресного дня, когда они встретились в автобусе по дороге в город.

Шурка, как обычно, собрался навестить свою очередную знакомую — Зою.

Свету он сначала не узнал — до того она была какая-то «московская», другого слова не подберешь. Таких женщин он видел только на центральных улицах города и относился к ним полупрезрительно, как положено рабочему человеку относиться к белоручкам и стилягам. Света же в своем синем костюмчике с блестящими пуговицами походила на стюардессу международной авиалинии.

Света смотрела в окно автобуса и улыбалась каким-то своим мыслям. Шурка пробрался к ней и вместо приветствия сказал:

— Сегодня в тебя можно влюбиться.

Света повернула лицо к нему и уже без улыбки спросила:

— А вчера нельзя было?

— Да нет...— смутился Шурка.— Я не в том смысле что сегодня...— Он сбился и умолк. «Черт, ну и язык у этой библиотекарши».

— Ничего,— сказала Света.— Таким, как ты, трудно в меня влюбиться.

— Каким таким? — насупился Шурка.

На сей раз смутилась она.

— Как тебе сказать...

Шурка всерьез разозлился.

— А может, все наоборот? Может, это для тебя такие, как я, не пара? Такие, которые вкалывают, а не шляются по филармониям да по версинажам.

— Вернисажам,— холодно поправила Света.— Да, мне такие не пара. Я как раз собираюсь и в филармонию и на выставку. А ты?

— Я? — растерялся Шурка.— Это неважно.

— Может, пойдем шляться вместе? — с той же холодной издевкой продолжала Света.— Или у тебя более серьезные планы? И все, конечно, для обогащения интеллекта?

— Слушай, ты, со своим интеллектом! — зашипел Шурка.— Что ты знаешь о настоящих людях?!

— Это те, которые вкалывают? — перебила Света.

— Да, те самые! В любой мороз вкалывают, понятно?

— Понятно,— кивнула она.— Можешь не продолжать. Этой демагогии я уже наслушалась. Если тебя интересует мое мнение, могу сказать, что рабы в Древнем Риме тоже вкалывали. И тоже, заметь, в любую погоду. Человек, какая бы у него ни была профессия, не может жить только этим. Он обязательно должен читать и, как ты выражаешься, шляться по концертам и выставкам. Человек не виноват, если у него этих потребностей еще нет — он мог воспитываться в таких условиях, что не до искусства. Но он виноват, если не стремится воспитать их в себе, когда условия для этого есть. Настоящие люди! — возмущенно фыркнула она.— Ну скажи мне, куда ты собрался?

— А тебе-то что? — огрызнулся Шурка.

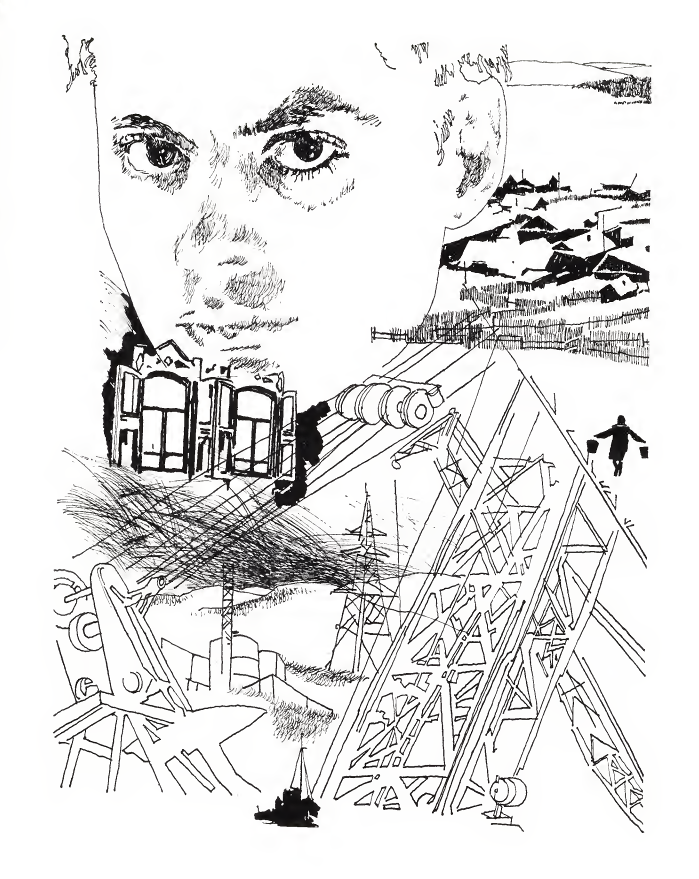
— Хочу знать, как настоящие люди проводят выходной. С водкой или, может быть, с коньяком? — Она подбородком указала на выразительный сверток, который он держал в руках.— И уж заодно объясни мне, чем ты и твоя бригада с громким титулом так уж отличаетесь от прочих?

Больше она за всю дорогу не произнесла ни слова, но и того, что наговорила эта «стюардесса», было достаточно, чтобы испортить Шурке хорошо задуманный выходной. Настроение зайти к Зое у него начисто отшибло. Он засветло вернулся в общежитие и весь вечер провалялся на койке, вспоминая разговор в автобусе и размышляя.

Вот ведь как: на стройке ты первый человек, в газете портреты печатают, в президиумы приглашают, а такая пигалица тебя презирает. Зайцев, все начальство считают тебя бригадиром бригады коммунистического труда, а ты, оказывается, чуть ли не такая же темнота, как древнеримский раб. Начальству-то главное, чтобы ты полтораста процентов дал, а интересует тебя театр или нет — твое личное дело. И что же получается? Получается тот самый вопрос: чем ты так уж отличаешься от других? Процентами?

Совсем неожиданно пришла мысль: жена его должна быть такою, как Света. Чтоб он никогда не смог к ней совсем привыкнуть.

И как это так получается: вчера человек вовсе чужой для тебя или, того хуже, неприятный, а сегодня вдруг становится желанным, небходимым. Одним словом, ровно через две недели после той



перепалки со Светой в автобусе Шурка предложил ей руку и сердце.

Смешно сказать: в промежутке между последней стычкой и тем днем, когда он сделал ей предложение, у них не произошло ничего такого, что бывает у других пар,— ни свиданий, ни поцелуев. Только встречались они как бы нечаянно в разных местах почему-то чаще, чем прежде.

Само объяснение тоже было чудно́е. Он уехал в город самым первым рейсом и часа три ждал ее под крышей автобусной станции: дождь лил как про́клятый. Она могла и не приехать: погода была не для прогулок. Но Света приехала и, кажется, не очень удивилась, когда перед ней вырос Шурка. Потом-то она утверждала, что в то утро предчувствовала встречу с ним.

Несмотря на дождь, они направились пешком в центр. Долго шли молча. Потом Шурка бухнул без предисловий, что просит ее выйти за него. Света подняла на него глаза — на ресницах у нее висели крохотные капельки — и просто ответила:

— Я согласна.

Шурка потом допытывался, почему она сразу, без раздумий согласилась, а не послала его ко всем чертям — такую древнеримскую темноту-то?

— А ты не догадался? Очень просто: я тебя любила.

— Так ведь ты же... я же...

— Я же, ты же...— передразнила Света.— Не могу я тебе ничего объяснить. Так вот взяла и влюбилась.

— А когда?

— Не знаю, и отстань, пожалуйста.

— А когда крыла меня с трибуны, уже любила?

— Любила.

— Ну, уж это ты, Света, врешь!

И они дружно расхохотались — ничего себе любовь!

9

Издали Света много раз видела своего московского пациента инженера Маковкина, но подойти почему-то стеснялась. И вышло, что вторично она с ним встретилась на собственной свадьбе. Он, как непосредственный начальник жениха, сидел на одном из почетных мест. Подойдя поздравить невесту, сказал:

— Ну, здравствуйте, беглая Света. И примите мои поздравления. Весьма оперативно, должен заметить, весьма, весьма оперативно.

— Здравствуйте, Георгий Владимирович. Спасибо. А что оперативно?

— Как это что? Сегодня она меня лечит в Москве, а завтра я ее встречаю в Сибири, и уже в качестве новобрачной. Жена тебе решительная досталась, Александр, поимей это в виду.

Шурка смотрел на них недоумевающе. Света кратко просветила его, и эта история почему-то очень насмешила Шурку.

— Значит, ты самолично ему шприц в мягкое место загоняла? Ну, умора...

Поскольку Александр Копенкин на стройке был не последним человеком, свадьбу устроили комсомольскую, в клубном зале, на добрую сотню гостей, часть которых ни жених, ни тем более невеста даже не знали. Полвечера молодоженам пришлось провести перед фотообъективом — сначала вдвоем, а потом с Димкой, с Зайцевым и парторгом Ивановым, с секретарем комитета комсомола Лешей Сидориным и комитетчиками, с Маковкиным, с Лидой и Антониной Павловной — муж Лидин пришел с опозданием, оперировал кого-то. И под конец уже с теми, кто только смог уместиться в кадре.

Валя Хлебников, захмелев, доказывал всем подряд, что он будет не он, если не пропихнет про такое событие фотоочерк на полполосы.

Апофеозом свадьбы был момент, когда супругам Копенкиным, абсолютно этого не ожидавшим, вручили ключ от изолированной комнаты, выделенной им в корпусе для семейных. Зайцев произнес небольшую речь и надел на склоненную шею Шурки алую ленту с ключом.

На этом сюрпризы не кончились.

Леша Сидорин, взяв слово после Зайцева, объявил, что товарищи Копенкина по ударной работе сочли бы себя последними жмотами, если бы ему пришлось привести молодую раскрасавицу жену в пустые стены. Посему они позаботились, чтобы вдоль этих стен стояло все, что необходимо для начинающих совместную жизнь комсомольцев. Включая, добавил он под смех и аплодисменты, двуспальную кровать с панцирной сеткой. Тут Леша заметил, что парторг Иванов качает лысой головой, поперхнулся, смутился и уселся на полуслове, чем вызвал новый взрыв веселья.

Следующим утром Шурка, отвернув от Светы лицо, хмуро спросил:

— Много их у тебя было?

— Кого? — спросонья не разобралась она.

— Хахалей, кого...— зло повысил он голос.— Могла бы честно сказать, заранее.

Света молча встала с постели и начала быстро одеваться. Глупо, но пришлось опять натягивать белое свадебное платье — из клуба повели молодых прямо в новое жилье, она ничего, кроме этого платья, не захватила с собой. И вообще предполагалось, что первую брачную ночь они проведут у Антонины Павловны, которая по этому случаю напросилась ночевать к подруге.

Понаблюдав за ее действиями и видя, что она уже берется за пальто, Шурка сказал:

— Ты что? Ты куда это?

Не отвечая, Света натягивала валенки, заматывала шаль. Тогда он вскочил в одних трусах и загородил своим богатырским корпусом дверь.

— Ты куда, я спрашиваю?!

— Пусти! — кусая губу, потребовала Света.— Пусти, дурак!

— Ты же еще меня и обзывать будешь? — не столько обозлился, сколько удивился Шурка.— А что я такого сделал, а? Каждый сказал бы то же самое, нет, что ли?

— Нет мне дела до каждых! Я думала, ты не такой,— глотала она слезы,— а ты скотина грубая, жлоб. Только так и представляешь себе: хахали и хахалицы. Я думала, я тебе как человек нужна, а ты — главное, чтоб только мое! Ну так запомни: я не собственность! И я минуты больше с тобой находиться не желаю. Пусти, говорят!

Она что было силы забарабанила кулаками по его груди. Шурка перехватил ее руки своими могучими лапами.

— Ты что, опозорить меня на всю Сибирь хочешь? Ишь, разбушевалась. Обидно ей... А мне не обидно, думаешь? Любому мужику обидно.

— Ну ясно, конечно,— кипела, вырываясь, Света,— мужику обидно, а женщине не обидно. Мужику все дозволено, правильно? Отпусти меня сейчас

же! А у тебя сколько девчонок было? А? Не помнишь? А ты думал, что им тоже кто-то скажет: сколько у тебя хахалей было? Не думал? Пусти меня!

— Не пущу,— уже миролюбиво сказал Шурка.— Перестань орать, соседи скажут: «С первого дня грызутся».

— Плевать мне, кто что скажет!

— А мне нет. Нам здесь жить.

— Не собираюсь я с тобой нигде жить.

— Ну ладно, ладно, будет, разошлась...

Шурка подхватил ее на руки и стал носить по комнате. Сначала она несильно вырывалась, потом затихла, всхлипывала иногда, уткнувшись в его жесткое плечо.

Тем же вечером они, добравшись до города на предоставленном Зайцевым «газике», сели на самолет, чтобы провести положенные молодоженам за свой счет три дня в Белом Яру, у Шуркиных родителей.

Там состоялась, по сути дела, вторая свадьба. И гостей поднавалило полсела, и чарки за молодых, за их отцов-матерей, за их будущее потомство до первых петухов осушали, и «горько» каждую минуту кричали. Для полноты впечатления не хватало лишь белого платья до полу. Свете, естественно, не пришло в голову его захватить.

После гульбы в копенкинском доме пришла пора хождений по их родственникам, и везде, конечно, начиналось и кончалось выпивкой. Света не решалась протестовать, но чуть не завизжала по-девичьи от радости, когда на четвертый день Шурка, проснувшись, шепотом предложил ей:

— Светик, давай смотаемся отсюда, а? Я тут загнусь, ей-богу.

Узнав про их решение, Гавриил Михайлович и Арина Федоровна в душе, конечно, несколько обиделись, но ни тот, ни другая виду не подали. Были они людьми, умудренными жизненным опытом, а главное, по натуре своей доброжелательными. Для себя они решили, что их Шурке жена досталась правильная. Точно такая, как ему надо, и это для них, родителей, основное. Ему будет хорошо, значит, и им тоже. А все остальное — житейские мелочи...

Распрощались они со Светой душевно, при ней оба наказали сыну беречь ее и жалеть. Света неожиданно для самой себя разревелась — давно не ощущала столь необходимой ей материнской ласки, а тут Арина Федоровна все поглаживала ее шершавой ладонью то по плечу, то по волосам.

10

С первых же дней их совместной жизни Света открыла, что Шурка — огромный, очень сильный и выносливый — обидчив, как ребенок, если его чем-то задеть. Он привык быть первым парнем на деревне, девицы, с которыми он встречался прежде, видимо, щедро расточали ему лесть. Это под горячую руку проскальзывало в его речах: «Да за мной не такие бабы, как ты, бегали!» Светка хладнокровно парировала: «Конечно, не такие. Дуры с одной извилиной в мозгу. Другие-то не бегают, только вы, мужики, этого не понимаете. Вам чем проще, тем лучше». Он совсем свирепел: «Ясно, лучше, чем такой выпендреж, как у тебя. Графиня, подумаешь...»

Потом они, правда, бурно целовались, но причина их частых ссор оставалась. Заключалась она в том, что Света не желала признавать Шурку существом более высокого порядка, чем она сама, и беспрекословно подчиняться его воле. Разумеется, по самому началу их знакомства Шурка не мог надеяться, что в лице «библиотекарши» он обретет покорную рабу его прихотей, но, по его мужской логике, одно дело было до замужества, а другое — после.

Тогда ей надо было взбрыкивать, чтобы на нее обратили внимание, а раз штамп в паспорте стоит, хватит валять дурака, слушай, что тебе муж приказывает, и исполняй.

Как-то Шурка небрежно распорядился, чтобы она чего-нибудь приготовила к ужину побольше: ребята собирались наведаться.

— Опять! — воскликнула Света.

— Чего опять? — сразу начал заводиться Шурка.— Ну и опять, тебе жалко, что ли? Не боись, я заколачиваю—хоть каждый день гостей зови, денег хватит...

— А я не хочу каждый день! Я, например, хочу в город с мужем поехать, в театр попасть, сто лет не была. Понятно тебе?

— Понятно, мне все понятно. Тебе охота, чтоб я всех ребят отшил и дома сидел, у тебя под каблуком, вот мне что понятно.

— А тебе охота, чтобы дома у тебя забегаловка была, а я за подавальщицу, так? Так вот, имейте в виду, Александр Гавриилович, ничего из вашего плана не выйдет. А ребят твоих никто отшивать не собирается, пусть приходят на здоровье хоть каждый день. Но без водки.

— Здесь мой дом, и я приведу, кого хочу, и пить буду, что хочу.

— Здесь наш дом. Приводи, но на меня не рассчитывай. Я уеду в город одна.

— Попробуй,— процедил Шурка зловеще.

Света почувствовала, как кровь отхлынула от щек.

Простая перепалка кончилась, в интонации этого «попробуй» было страшное, первобытное. Она подошла к нему вплотную — как когда-то возле диспетчерской — и тихо, без нажима спросила:

— А что ты сделаешь?

— Попробуй, увидишь.

Он отвернулся, не выдержав ее прямого взгляда.

— Ну, вот что, дорогой муженек,— сказала Света, заходя так, чтобы опять видеть его глаза,— запомни, пожалуйста, раз и навсегда: если ты посмеешь меня хоть пальцем тронуть, мы с тобой в тот же час в разные стороны. И еще: пить тебе с твоими ребятами я буду мешать изо всех сил, пока мы с тобой вместе. Так и знай!

Шурка незаметно для себя оказался в обороне.

— Что ж, нам нельзя иногда выпить, что ли? — сказал он примирительно.

— Иногда, а не каждую субботу.

— Да ты что, не понимаешь, что ли: им в семейный дом прийти хочется, надоело все время в общежитии да в клубе.

— Прекрасно. Пусть тогда и ведут себя как в семейном доме. Я им с удовольствием чаю поставлю, испеку чего-нибудь...

— Ну, во-от...— протянул Шурка презрительно. Однако предложил компромиссное решение: сегодня ребята придут, как договорились, а в воскресенье с утра они со Светой вдвоем отправятся в город и проведут время так, как она, его жена, пожелает.

Женский инстинкт подсказал ей, что на первый случай и это уже немалая победа и развивать конфликт сейчас не нужно: Шурка пригласил ребят и скорее разойдется с женой, чем «опозорится» перед друзьями.

Вечером перед гостями она, по словам Шурки, «толкнула целую речугу» о том, как они неинтересно живут и как могли бы интересно жить, если бы захотели. «Завелась» она от Димкиного тоста, что живут, мол, они, опалубщики бригады, где бригадиром товарищ Копенкин, как дай бог каждому, и вот за это есть предложение выпить до дна... Димка потом совершенно искренне удивился сказанному хозяйкой: заработок-то в бригаде будь здоров, он лично «Жигули» покупать надумал.

Света ответила, что она не то имеет в виду. Ну, вот сегодня они от своих «заработков будь здоров» сидят у них с Шуркой. А что они делали в прошлую субботу? А в позапрошлую? А в позапозапрошлую? Почему бы по воскресеньям не попутешествовать всем вместе — зимой на лыжах, летом пешком — или соорудить пару баркасов — они же плотники? Места-то вокруг сказочные, а ребята, кроме своего участка, так ничего и не увидят. А когда лично он, Димка, последний раз был в театре? А почему бы вместо бесконечного сидения за столом не купить театральные абонементы и не посмотреть все сто́ящее, что есть в драматических и оперных театрах? Вот врачи — муж и жена,— тоже живя в Нижних Чомах, не упускают ничего интересного в культурной жизни города, а уж сколько читают...

— Врачи...— скривил рот Димка.— Попробовали бы они на нашем месте повкалывать, я б еще поглядел, в какие театры они бы бегали. А насчет книжек не беспокойся, книжек у нас в общежитии хватает, читаем как-нибудь не меньше твоих врачишек.

Свете не нужно было никого спрашивать, она и так от Шурки знала, что его друг — «сумасшедший насчет книг» и что по его инициативе ребята сложились и выписали на общежитие и газеты и несколько толстых журналов.

Но она, конечно, не могла промолчать, когда Димка довольно ядовито посоветовал ей внимательно почитать классиков марксизма, чтобы как следует уяснить, что рабочий класс — это гегемон, это ведущий класс.

— Ты в сторону не уводи,— ответила она, не смутившись,— мы с тобой сейчас не о классовой борьбе говорим, а о развитии человеческого интеллекта. По-моему, может быть интеллигентный рабочий, интеллигентный колхозник и может быть неинтеллигентный врач, неинтеллигентный инженер.

— Не интеллигентный, а какой? — уточнил Димка, которого заинтересовал такой поворот их спора.

— Никакой. Узкий специалист. Знает свои логарифмы или симптомы и больше ничего знать не хочет. Это ерунда, будто для того, чтобы стать интеллигентным человеком, обязательно нужно высшее образование получить. Я сколько хочешь видела таких, что с высшим образованием, а сами серость.

— А сама ты кто? Интеллигентка или теперь, как жена плотника, тоже рабочий класс? Или тебе зазорно числиться в рабочем сословии?

Все притихли, ожидая ее ответа, а в Шуркиных глазах она уловила даже некоторое злорадство: ты думала, мы тут лаптем щи хлебаем, давай-ка теперь покрутись, поработай мозгами.

— Сама я медицинская сестра, если ты до сих пор этого не знал,— сказала Света не столько Димке, сколько мужу.— А вы все тут рабочие без году неделя. И того нету. Тоже мне — два года, как из деревни, а туда же — рабочее сословие. Вам, дорогие товарищи, еще расти да расти, прежде чем мы вас за гегемона признаем.

— Это кто же вы? — кисло осведомился Димка.

— Мы, настоящее рабочее сословие.

— Это ты рабочее сословие?

— Я. Ты бы от моей работки, Димочка, на другой день взвыл, тем более, что платят за нее не так, как за твою. А кроме того, еще мои предки у токарных станков стояли, классными мастерами были. А отец с братьями и сейчас стоят. То есть братья сейчас в армии,— поправилась она,— но вообще они тоже токари. Ясно?

Димка не обиделся, как она опасалась, а, наоборот, расплылся в улыбке.

— Так ты, и верно, из наших? А мы-то думали...— Он запнулся и покосился на Шурку.

— Чего осекся, договаривай,— поощрил тот.

— Думали, нашел Шурик какую-то эдакую, профессорскую дочку, за романтикой приехала, небось.

Света искренне расхохоталась, аж голову закинула.

— А ведь я и вправду за романтикой.

— Приехала за романтикой, нашла мужа,— в тон подхватил Димка.— Давай, гегемон, чокнемся, чтоб тебе всегда так везло.

С его легкой руки Шурка стал именовать Свету «гегемоном», если злился или хотел ее разозлить. Тем более, что после той субботы она поставила жесткое условие: либо у них дома мир, либо война. Ей неинтересны эти посиживания то по поводу хорошей погоды, то по поводу дождя, одни и те же разговоры, одни и те же шутки.

Света с Шуркой будут интересно время проводить. И перво-наперво — каждый свободный вечер в театр.

— А обратно на своих двоих? — попытался иронизировать он.

— Хотя бы. Искусство требует жертв. А вот если бы ребят на абонементы сорганизовать, так и автобус бы, небось, давали. Как-никак бригада комтруда. Где бригадиром товарищ Копенкин.

— Ладно уж... Язва.

— Господи, да какая же я язва, Шурик,— ласково сказала она и, обхватив его шею руками, потерлась щекой об уже щетинистый его подбородок.— Я же просто хочу, чтобы нам с тобой хорошо было во всем...

Шурка, растроганный, гладил ее голову, плечи, вскинутые, обнажившиеся руки и бормотал ей на ухо что-то невнятное, понятное им одним.

Стычки стычками, а любил он эту строптивую девчонку — самому не верилось, что способен на такое.

11

Незаметно пролетело коротенькое северное лето, и почти сразу, без привычной для Светы среднерусской, нескончаемой, мокрой осени, упали заморозки. И как раз с первым настоящим снегом произошла между Светой и Шуркой первая по-настоящему серьезная, долго не затухавшая ссора.

Света очень переживала, что работает не по специальности, теряет квалификацию, и периодически наведывалась в больницу — вдруг появится вакансия.

В один из таких визитов Лида пригласила ее

с мужем в гости, пообещав налепить настоящих сибирских пельменей.

— А Аркадий Павлович? — вырвалось у Светы. Лида рассмеялась.

— Аркадий Павлович будет как миленький помогать лепить. Еще вопросы имеются?

— Нет,— ответно засмеялась Света.

— Тогда ждем в субботу, в семь.

Ровно в семь они с Шуркой постучались в боковую дверь больницы. Открыл им сам главврач — впервые на памяти Светы с улыбкой на лице.

— Милости просим, милости просим,— сказал он весело.— Стол накрыт, бульон кипит, кто войдет, будет сыт.

С этими словами он спрыгнул с крыльца и вытащил из сугроба покрывшуюся узорной изморозью бутылку водки, чем немало изумил и огорчил Свету: она-то была уверена, что продемонстрирует Шурке, как можно интересно провести субботний вечер без выпивки.

Затем Аркадий Павлович провел их через узенький тамбур в жилую комнату, где стоял стол, уже накрытый на четыре персоны, а Лида, шепотом считая, забрасывала пельмени в кастрюлю, установленную на туристской газовой плитке.

Хозяин помог Свете снять пальто и как истинный медик предложил гостям помыть руки — в комнате была маленькая, но самая настоящая белая раковина с краном.

Свету поразило обилие картин, писанных маслом и темперой. Они в несколько рядов занимали три стены; четвертая от пола до потолка пестрела книжными корешками. Между картинами обнаружились и превосходные цветные фотографии: Лида на лыжах, Лида у наряженной елки, Лида читает, Лидино лицо крупным планом.

Рассматривая картины, Света обратила внимание, что все они помечены инициалами «А. Р.», и догадалась — работы Аркадия Павловича. В основном это были пейзажи, выполненные крупными мазками. Аркадий Павлович подтвердил свое авторство и охотно рассказал, где какие написаны.

Разговор поддерживали главным образом Света и Аркадий Павлович — Лида хлопотала, а Шурка чувствовал себя скованно, ограничивался короткими репликами, вроде: «Здорово нарисовано» или «Ты смотри, сосна как настоящая». Так продолжалось и после того, как они сели за стол и почали запотевшую бутылку,— пока речь не зашла о ГЭС, точнее, о том, как скоро закончится сооружение первой очереди поселка на том берегу, где хозяевам обещана квартира. Тогда, пояснил Аркадий Павлович, он наконец сможет перевезти из города всю свою библиотеку, коллекцию картин и другие коллекции.

— Это, значит, еще не все? — повела вокруг рукой Света, проникаясь еще большим уважением к главврачу.

— Здесь ерунда, моя собственная мазня. А я, видите ли, за свою жизнь был подвержен множеству пороков и соблазнов,— шутливо сказал он.— Книги — это соблазн постоянный, пожизненный. А я собирал, кроме того, минералы, монеты, старинные регалии, открытки-репродукции с картин, марки и так далее и тому подобное. Но последнее время сосредоточился на марках и на художниках-сибиряках... Могу похвастаться, что есть у меня и два недурственных эскиза кисти Сурикова.

— Неужели? — поразилась Света; она бывала на выставках, где экспонировались вещи и из частных коллекций, но обладатели этих богатств представлялись ей не иначе как седовласыми академиками и генералами.

— Представьте себе,— не без самодовольства подтвердил Аркадий Павлович.— С Третьяковкой не тягаюсь, но в Красноярском доме-музее могли бы, пожалуй, и позавидовать, да-с. Так что, как только ваш супруг со товарищи позволят нам покинуть эту обитель и вселиться в новую, милости просим на новоселье, где непременно будут продемонстрированы и Суриков и иные жемчужины собрания Рязанцевых.

Еще в начале вечера Света отметила про себя и потом несколько раз возвращалась к той же мысли, что Аркадий Павлович держит себя верно, естественно, как всегда, чуть иронично, не подлаживаясь под более молодых собеседников, не демонстрируя всеми силами, что он тоже «молод душой».

Шурка, оживившись, обрадовавшись, что возникла наконец тема, в которой он подкован лучше всех остальных, толково и обстоятельно рассказал, как идет строительство городка, какие там трудности, кто в них виноват и каковы реальные перспективы.

Прозрачно намекнул, что на городок брошены кадры пониже классом, чем те, кто занят непосредственно на ГЭС, отсюда и темпы соответственно пониже.

То есть ребята тоже ничего, но таких умельцев высшей категории, как, скажем, в его собственной бригаде, там нет.

— Да уж, ваша бригада — дело особое,— серьезно сказал главврач, как бы констатируя общепризнанный факт, а не из желания сделать приятное гостю.

Света аж зарделась от радости, услышав такой комплимент мужу, а он, громко вздохнув, сообщил:

— Ухожу я от них.

— Куда? — в один голос с хозяевами изумилась Света.

Ей Шурка о намерении расстаться с бригадой ничего не говорил.

— В другую бригаду.

— Поссорился со своими, что ли? — продолжала недоумевать Света.

— «Поссорился»...— Шурка посмотрел на жену, как на маленького ребенка.— Придумаешь тоже. Бригада есть одна такая у нас,— обратился он к Аркадию Павловичу, подчеркивая, что разговор начинается мужской,— весь компот портит. То есть я хочу сказать, всю дорогу — всегда в прорыве: что ни месяц, либо задание не выполнят, либо, того хуже, брак из-за них идет у бетонщиков. Бригадира ихнего сегодня со стройки вытурили: целую неделю где-то ошивался, пил. Ну, вот я и надумал: попробую эту шпану до ума довести.

— Очень дельно надумали,— одобрил главврач и повторил: — Очень дельно. За это, я полагаю, не грех поднять тост. Недаром я свою нормативную оттягивал — предчувствовал.

— Как это нормативную? — спросил Шурка, чокаясь с ним.

— Аркадий Павлович никогда больше трех рюмок не пьет,— пояснила за мужа Лида.

— Ну, на свадьбе-то пришлось, наверно?

Лида переглянулась с мужем и сказала:

— Вместо свадьбы мы отправились, представьте себе, в лыжный поход, с палаткой, со спальными мешками. Свадебное пиршество в лесу было, у костра.

Расхвалив пельмени, которые действительно удались, Света с Шуркой уселись на диванчик и долго рассматривали альбом — сначала с цветными фотографиями, потом с марками. Свету марки не заинтересовали, а Шурка, который когда-то, как всякий мальчишка, увлекался ими, с вновь проснувшейся детской жадностью осматривал богатую рязанцевскую коллекцию и восхищенно приговаривал:

— Мне бы такую десять лет назад, ребята в Белом Яру сдохли бы от зависти...

...Домой попали за полночь.

Шурка сладко потянулся и сказал:

— Слава богу. Я уж думал, до утра тебя оттуда не вытяну.

— У них и до утра можно просидеть — интересно. Надо же, в лесу свадьбу себе устроили.

Мучаясь с верхней пуговичкой перекрахмаленной сорочки, Шурка небрежно заметил:

— Старше он ее вдвое, вот и приходится выпендриваться, выдумывать всякую хреновину

— Старше, а по-человечески интереснее любого из вас, молодых. Как у него сил на все хватает?..

— Помахал бы топором, как мы, небось, сил бы поубавилось.

— Чушь ты городишь! У вас, если хочешь знать, самая здоровая работа — целый день на свежем воздухе. И верно — незачем на лыжах бегать. А Аркадий Павлович каждый день оперирует, за жизни человеческие отвечает, это, знаешь, какое напряжение? Не видел ты, в каком состоянии хирург из операционной выходит.

— Ну и целуйся с ним. А меня сроду туда больше не затянешь, сама ходи, если нравится похвальбу твоего Аркадия Павловича слушать.

— При чем тут похвальба? Человек много знает, о чем ни спросишь — на все ответить может. А ты ему просто завидуешь.

— Я? Этому пенсионеру? Ты лучше поспрошай свою подруженьку, каково ей приходится, молоденькой, с таким грибом.

— Лида мне, знаешь, что сказала? Случись, говорит, плохое с Аркадием, я на себя руки наложу. Понятно тебе? О таком муже каждая женщина мечтает. А вы, дураки, думаете, что самое главное — хороший рост да смазливая рожа. А это все только вначале имеет значение, а потом не важно.

— А что важно?

— То, что у Аркадия Павловича есть в пятьдесят лет, а у многих в двадцать пять не бывает. Сила.

— Сила? Да я его одной левой...

— Кто про это говорит! Такой силой и бык может похвастаться. Он сильная личность, вот что.

— А я не личность, по-твоему?

— Личность, Шурик, не плывет по воле волн, а сама себе путь определяет.

— А я по воле волн? Я не сам придумал взять слабую бригаду? Не сам ли я и вытяну ее — это уж сдохну, но вытяну? И сюда меня вообще по мобилизации пригнали?!

— Я не о том...

— А я о том! Развесила слюни, а гнетет-то тебя: он врач, а я плотник. Не дурак, понимаю. И вот что. Если ты меня стесняешься, вали отсюда ко всем чертям, обойдусь без тебя.

— Ты мне не грози. Нужно будет — уйду, цепляться не стану, запомни это.

Уснули они, далеко отодвинувшись друг от друга, а утром разошлись в полном молчании. Оба считали себя глубоко обиженными, и прежде чем в их отношения вернулась прежняя теплота, прошло много дней.

12

Минуло еще полгода.

Съездили в Москву, познакомился Шурка с тестем и тещей, сам по душе им пришелся, и они ему тоже. Света предстала перед отцом с матерью уже на седьмом месяце. Мать тут же засела за шитье распашонок и прочего «обмундирования», как шутил Шурка.

...У себя в Нижних Чомах молодые теперь жили дружнее, чем поначалу. И попритерлись, и Светино состояние заставляло Шурку быть внимательнее, сдержаннее, не взрываться по каждому пустяку, если ему что не по нраву. Однако бывали все-таки моменты, когда Шурка прямо-таки зверел. Это случалось всякий раз после его выпивок с ребятами из новой бригады, потому что Света за это пощады не давала. Напрасно он ей доказывал, что одними приказаниями и лозунгами он товарищеские отношения не наладит, авторитет себе не завоюет. Света язвительно советовала ему по субботам ставить им по ведру водки, а по понедельникам полведра на опохмелку — так когда-то купцы у своих работников авторитет завоевывали.

В общем и целом дела у Шурки шли неплохо. Вскоре после перехода в отстающую бригаду в областной газете опять появился его портрет и корреспонденция под названием «По примеру Гагановой». Автором, конечно, был Валя Хлебников. Он все эти полгода регулярно освещал положение в новой копенкинской бригаде. Шурке по секрету поведал, что напишет о нем целую книжку — уже и договор с издательством заключил.

Люди в новой бригаде оказались вполне толковые, только каждый существовал как-то сам по себе. Сказывалась возрастная разница — от двадцати пяти до пятидесяти,— влияло и то, что все они попали на ГЭС по вербовке, из различных краев. В прежней бригаде, которую теперь возглавлял Димка, все были и возрастом примерно одинаковы и, главное, прошли одинаковую хорошую школу — двухгодичную армейскую службу, приучающую к дисциплине и коллективизму. А Шурка должен был сделать из этих случайных людей единое целое, коллектив, чтобы каждый понимал свою ответственность перед остальными. Для этого бригадир применял все приходившие на ум способы. Индивидуально побеседовал с каждым по очереди, вдалбливал, что, если научатся артельно работать, по-ударному, не только почет им светит, но и заработок в полтора-два раза подпрыгнет. Сначала не считал за грех и выпить кое с кем после получки, однако потом согласился с женой, что от такого «сплочения» вреда куда больше, чем пользы.

Уже с третьего месяца бригада пошла с перевыполнением и дальше с каждым месяцем наращивала темпы. Через шесть месяцев Валя Хлебников сообщил читателям, что успех Копенкина несомненен, бригада трудится стабильно, и вполне вероятно, что в самом ближайшем будущем она превратится в опасного соперника бригады Ивлева, то есть бывшей бригады Копенкина.

Вслед за этим Зайцев, встретив Шурку, сказал, что, видимо, скоро можно будет говорить о присвоении его новой бригаде звания коллектива коммунистического труда.

Шурка, как на крыльях, летел с этой новостью домой, но Света приняла ее более чем прохладно.

— Нечему радоваться,— заявила она.

— Это почему? — оскорбился Шурка.

— Да потому, что слишком скоро. Вы с Зайце-

вым хотите хорошее дело испоганить. Галочку лишнюю поставить.

— По-твоему, это называется испоганить хорошее дело?

— Именно. Если таким званием оделять кого попало, люди перестанут в него верить.

— Это мы — кто попало?! — разъярился Шурка.

— Ну давай, давай,— спокойно усмехнулась Света,— расскажи мне, как вы вкалываете в любой мороз. Ты же сам жаловался, что твои герои пьяными на работу являются.

Это была их вторая ссора.

Шурка не мог простить ей обиду. И больше на эту тему не заговаривал.

Как-то за воскресным завтраком Шурка опять увидел в газете свою фамилию. Хлебников красиво обрисовал, как Копенкин сумел за короткий срок вывести свою бригаду в число передовых, за что ей присвоено высокое звание коллектива коммунистического труда,—об этом Шурка, конечно, знал заранее, но жене не говорил, выдерживал характер.

Зато уж газету он читал так демонстративно, усмехался и покашливал так многозначительно, что Света в конце концов проявила любопытство и заглянула через его плечо. Прочла, нахмурилась и презрительно бросила:

— Эх ты, галочка!

— Какая галочка? — не понял Шурка.

— Чернильная, вот какая.

Она ушла из комнаты, хлопнув дверью. И как в воду глядела Света. Полмесяца не прошло после вручения почетного вымпела, как самые молодые в бригаде Герасимов и Зеленцов не вышли на работу. Шурка расстроился, но решил не поднимать шума. Шум поднялся и без него. Перед обедом пришел Зайцев злой как дьявол и устроил Шурке всенародный разнос за покрывательство пьяниц и прогульщиков. Он, комсомолец, должен был еще до присвоения звания прямо и честно заявить, что в его бригаде есть такие люди. Копенкин же поступил как карьерист.

Выяснилось, что Герасимов и Зеленцов накануне вечером учинили дебош в городе, в вокзальном ресторане,— подрались с какой-то компанией. Попав в милицию, начали грозить дежурному, что он поплатится за такое обращение с героями труда. Из милиции позвонили на ГЭС: верно ли, что эти двое из знаменитой бригады Копенкина? Разговаривал сам Зайцев, и, когда он подтвердил, что задержанные говорят правду, дежурный милиции объявил, что материал по хулиганам будет направлен в редакцию газеты.

На прощание Зайцев пообещал Шурке немедленно поставить вопрос о лишении бригады звания, опозоренного ею.

...Едва дождались конца рабочего дня. Расходились по домам мрачные, без обычных шуток и подковырок.

Домой Шурка пришел угрюмый и злой. Перешагнув порог, опережая Свету, выкрикнул:

— Можешь радоваться, все по-твоему получилось, как напророчила.

Почувствовав, что произошло нехорошее, Света молча налила ему крепкого горячего чаю и сама села напротив мужа.

Он отхлебывал из стакана и, глядя в пространство, повторял:

— Что же теперь делать-то? Что делать-то, а? Ах, сволочи! Ах, сволочи!

Вытянув наконец, о каких сволочах он говорит, Света стала его успокаивать, объясняя, что, конечно, приятного во всем этом мало, но жизнь не кончается, надо еще поработать с людьми в бригаде, пусть год, пусть два, но уж заслужить звание всерьез. Трудиться, чтобы выкарабкаться из беды, а не распускать нюни. Иначе какой ты, к черту, мужчина!

— Да-да, это ты верно говоришь, это ты правильно,— пробормотал Шурка, но тут же стал причитать: — Что же делать, а? Что же делать-то?

Шурка не был подготовлен к такому испытанию, слишком привык, что все для него просто, все удается. Но больше всего угнетала мысль о том, что скажет отец, человек, который превыше всего на свете ставит честность и справедливость, который никогда не рвется к славе.

13

В тот вечер Шурка уснул быстро, раньше Светы.

Спит. Спит, и все. И ничего для него не значит, что она так измучилась за эти часы, дни и месяцы...

Вдруг где-то внутри занялась тягучая боль. Света, не сдержавшись, громко вскрикнула, зажмурилась. Шурка вскочил, схватил ее за плечи.

— Светка, ты чего?

— Уйди! Уходи, не трогай меня! — плача, потому что боль делалась все сильнее, закричала она и оттолкнула его.

— Светочка, родная...

— Уйди! Уйди! Уйди! — исступленно повторяла она, забыв о соседях, забыв обо всем на свете, кроме боли.

По-настоящему она пришла в себя только на второй день к вечеру, в палате, где лежали еще человек десять. Женщины весело переговаривались, смеялись.

— Слава те,— ворчливо сказала сидевшая на табуретке рядом с ее кроватью пожилая женщина в белом халате.— Задала ты всем страху, мамаша.— Она ушла и вскоре принесла тугой белый сверток.— Ну, давай. Кормить надо человека.

Сын с таким пониманием занялся своим делом, как будто это ему было не впервой. Света смотрела, как он ест, и жалела, что Шурка не может этого видеть.

Забирая ребенка, няня вспомнила, что носит в кармане письмо для Светы. Письмо было от Шурки, длинное-предлинное.

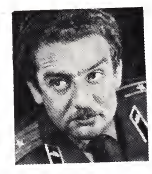
Света читала его и улыбалась, а по щекам у нее сбегали слезы.

Впереди у них с Шуркой оставалась еще целая жизнь.

Валерий Черкашин



СТИХИ



✪

Пыпающий направить самолет
в копонну танков
с черными крестами!
...Таких приказов
не найдешь в уставе.
Приказ на подвиг
сердце отдает.

Тревожный чемодан

Еще на срочный сбор
сигнал не дан,
не лринимап радист
суровой вести,
а в комнате моей
на видном месте
уже стоит
тревожный чемодан.
В нем сигареты,
бритвенный прибор,
сухой паек
на двое с лишним суток.
С послевоенных дней
и до сих лор
его готовность —
тонкий промежуток
между покоем
вспаханных полей
и грохотом
рванувшего тротипа.
И мирный день
вбпизи моей квартиры
идет, как лароход
со стапепей.

Угол зрения

Суть вещей
я лонимал как надо
до черты незримой,
где меня
— К бою! —
хрилповатая команда
уложипа на рубеж огня.
Вспушиваясь
в голос командира,
видеп я,
как он десятком спов
лревратить сумеп
в ориентиры
угол рощи
и пологий скпон.
Где-то назревапо наступпение,
и с неимоверной быстротой
стал танкоопасным направлением
луговой июпьский травостой.
Понял я
как будто в озарении:
березняк — обшивка дпя траншей!
Просто изменипся
угол зрения
с рубежа огня —
на суть вещей.

В атаке

Но цепь занятий
ломнип взводный.
И на бегу
среди стели
я — по его лрицельной вводной —
«убит» и выбып из цепи.
Иду немного в отдапении
и жив,
и цеп,
и невредим.
Спежу за тем,
как в отделении
нашепся новый командир.
Как он досадно ошибается,
мотострепков
отводит вслять,
мне виновато улыбается
и ошибается олять.
Взвод пролыпен,
жарой лропитан,
отброшен к травам межевым.
...Обидно это —
быть убитым:
совета не подашь живым.

Шинель

В накренившемся к августу лете
ты мне, мода, обновы не шей.
Я на стыках твоих разнолетий
видеп много красивых вещей.

На толкучках сбывали старухи
хромачи и отрезы сукна.
В лору послевоенной разрухи
мне примерип шинель старшина.

За работу взялись непогоды —
мяпи так, что морщинки на лбу.
Выдаются шинели на годы,
мне досталась моя — на судьбу.

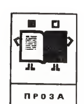
Есть в ней прочность особого рода,
и настолько надежный фасон,
что она не выходит из моды
даже в самый погожий сезон.



Лариса
КЕРЦЕЛЛИ

ТРИ РАССКАЗА

Из цикла «Когда была война»



Рисунки
Е. МАЦИЕВСКОГО.



чемодан

Все звали его Чемодан. Потому что фамилия его была Чемоданов. Он был рыжий. И хулиган. Самый главный хулиган в классе.

Рыжий Чемодан всегда ходил в синих сатиновых штанах и в настоящих валенках. Один раз он дал мне их надеть на уроке. Мы ведь сидели с ним за одной партой. Я ходила в школу в носках и в тетиных галошах. Носки были колючие, серые, а галоши женские, с высокими каблуками, и я в эти каблуки набивала бумагу, чтобы удобнее было.

Вот на уроке географии Чемодан и дал мне надеть валенки. Что на географии — это я точно запомнила, потому что учитель рассказывал тогда про Африку, а про Африку я очень любила слушать. И Чемодан, по-моему, тоже любил. Только он ходил в валенках и не мог вполне понять, как хорошо людям быть в Африке. Но, может быть, он и понимал. Потому что валенки-то он мне подсунул под партой. Валенки у Чемодана были замечательные. Как мне в них тогда было, я никогда не забуду. Я сидела в них почти целый час.

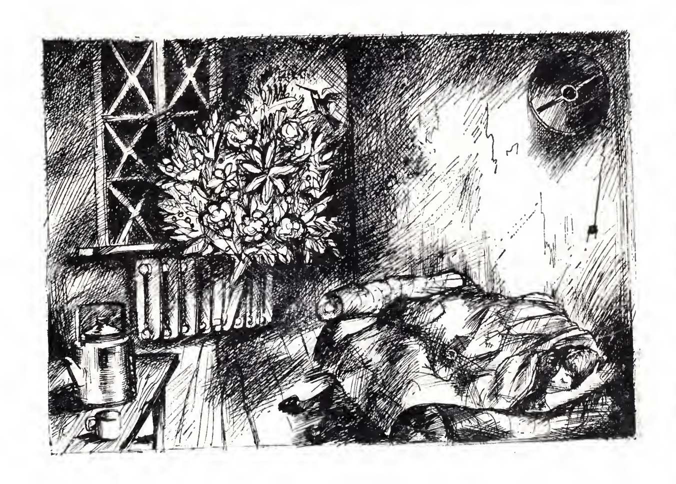
Вообще Чемодан мне нравился больше всех. И не из-за валенок, конечно. И не из-за булочки, которую он мне отдал, когда мне опять ничего не досталось. Он мне сказал: «Жри, Рахит»,— и я ее съела. А если бы не Чемодан дал, я бы не взяла. Но никто, кроме Чемодана, и не дал бы. Булочек в городе нигде не было, только в школе. Хотя, может, и были, мне-то откуда знать...

Чемодан звал меня Рахитик. И мне зто нравилось. Потому что Рахитик очень похоже на имя. А по имени меня здесь почти никто не звал. Даже девочка мне на улице говорили редко. Конечно, какая же девочка, если в тетиных галошах по снегу, и нос огромный, синий, а щек совсем нет, и штаны — не то штаны, не то непонятно что, потому что сшиты из перекрашенного чехла от дивана и спускаются чуть не до пяток... Девочки ходят в валенках, в пуховых шапочках. А Чемодан мне говорил не подвинься, а подвинься, Рахитик.

Хитрый он был, Чемодан. И очень ловкий. Он всегда все у меня списывал, и никто об этом даже не догадывался. А один раз он почему-то не стал списывать и писал диктант сам. Я тогда плакала потихоньку в уборной — никак не могла понять, почему это Чемодан не хотел списывать.

Может, если б не Чемодан, я бы не ходила в школу в ту зиму. Стояла бы с утра в очереди за хлебом в магазине для звакуированных, потом съедала бы свою порцию, шла домой и ложилась бы под одеяло, под свое и под тетино, под маскировочную штору, под все-все вещи, которые отыскала бы в комнате, и лежала бы. Перед глазами плыли бы зеленые и красные круги, ледяная горка в углу, где лопнула батарея, расцветала бы клумбой с невиданными цветами, и я лежала бы. Как будто в Африке. Или в Индии. Или до войны на даче...

Если бы не Чемодан, я, может быть, не ходила бы в школу в ту зиму. Я считала, что мы с Чемоданом дружим. Вот он удивился б, наверное, если б узнал... Мы с ним почти не разговаривали. Один только раз я рассказала ему о кровяных котлетах,



которые давали в столовой у нас в подвале. Их давали всем, и весь наш дом ел эти котлеты. Говорили, что они вкусные. Я не могла их есть, и тетя от этого почему-то плакала. Она целый час объясняла мне, что эти котлеты делают из быков и коров, из которых делают и настоящие котлеты, говорила разные обыкновенные слова: бойня, продукты питания, отходы, гематоген,— а потом повела в столовую. Я, когда шла, думала, что съем — для тети — такую котлету, но не съела, и одна женщина сказала тете сердито. «...чего плакать-то... была бы голодная, съела бы, не прынцесса...» Ночью мне снились кровяные котлеты — кровь и котлеты, кровь и котлеты... Тут Чемодан сделал страшную рожу, наверное, очень смешную. Но я не засмеялась, и он тоже не засмеялся. Может, он сделал ее по привычке. А я вдруг подумала, что Чемодан тоже не съел бы кровяную котлету.

Если у меня была какая-нибудь книга интересная, я незаметно клала ее на середину парты, и Чемодан тут же начинал косить глазом, а потом книга незаметно исчезала и так же незаметно появлялась через несколько дней.

Иногда на больших переменах нам давали суп. Почему-то его надо было пить из миски. Ложками ели только учителя или нянечки. Суп — это суп. Суп я иногда ела с тетей в госпитале. В другие дни я ела хлеб. Двести граммов. Сколько бы я могла съесть супа... Но пить я его не могла. Я не умела, чтобы кусочки чего-то, что там в нем было, не валились мне на нос, за ворот. Один раз, когда так было, вытаскивая из-за ворота кусочек картошки, я услышала, как засмеялась какая-то красивая девочка, пятиклассница, наверное. С тех пор я суп не пила. Этого никто не замечал. А я всегда ходила со всеми зачем-то. Может быть, потому, что знала: и я могу подойти, взять миску и пить теплый суп. И однажды Чемодан сунул мне ложку за пазуху. Холодную жирноватую ложку, которую он как-то стянул. С тех пор он часто доставал ложки. И всегда больно трескал ими меня по носу или втыкал сзади в косу. Но мне было не обидно, что он трескает, и я сразу же неслась за миской с супом.

Как-то раз я увидела Чемодана в кино. Он старался втиснуться поглубже в толпу. Наверное, проскочил без билета. Я испугалась, что он не заметил меня, и тоже полезла в толкучку. Но Чемодан всегда все замечал. Он что есть силы лягнул меня и наступил на ногу. Обмороженные пальцы заныли. Целых два часа я была счастлива: я встретила в кино знакомого, друга.

Чемодан заболел. Кто-то сказал, что у него свинка. Не известная какая-нибудь болезнь — дизентерия, дистрофия, воспаление легких,— а именно свинка. На парте стало холодно и пустынно, как за Полярным кругом. Через несколько дней в школу пришла Чемоданова мать. За уроками. Я собралась с духом и протянула ей «Оливера Твиста»:

— Вот, пожалуйста, передайте...

— Кому? Вовке-то? — сказала женщина.

Чемодана, оказывается, звали Вовкой.



топленое масло

Вот уж чего я никак не могла подумать — что она вдруг заплачет. Раньше я никогда не видела, чтобы она плакала.

А тут вдруг заплакала. И главное, что не из-за чего. Я его сразу же на стол поставила. Только вошла, рюкзак свой раскрыла, достала сарафан — он в сарафан в синий байковый завернут был, чтобы не разбился в дороге как-нибудь,— и на стол поставила. Я думала, мама удивится, обрадуется, где это я целый стакан масла вдруг раздобыла, да еще такой плотный стакан, больше чем на двести граммов, потому что оно из сливочного настоящим топленым сделалось. А она вдруг заплакала. Я даже перепугалась как-то, стала ей поскорее самое смешное рассказывать.

Дело в том, что я это масло целый месяц в ложках через жутко до чего глубокий овраг таскала. Это, пожалуй, почище, чем черкешенкам кувшины с водой на голове таскать. Потому что черкешенки, хоть и по крутым и по горным, но все ж таки по тропинкам с кувшинами топают. И потом их чуть не с пеленок самых это делать выучивают. А в овраге в нашем не то что тропинки, там ногу просто поставить некуда, до того он чертовщиной всякою — колючками разными и крапивой — снизу доверху зарос густо весь. Да еще на дне там ужасно мокро всегда, так что по другой стороне, когда вверх карабкаешься, тапки от глины чуть не стопудовыми сразу становятся. Прогуляться в овраг в такой не полезешь.

Так вот. Если в столовой ложке масло несешь — это еще ничего. Спуститься так вообще довольно быстро можно. Ну и подниматься тоже ничего. Но уж если в чайной ложке, тут и спускаться с умом с большим надо. Чуть-чуть раз не так наклонишься — и готово. Никакого масла как не бывало.

А его, между прочим, не так-то легко было из столовой вынести. Во-первых, не всегда попадается каша, куда масло посередине специально в ямочку вдавлено. Иной раз такая порция подвернется, что хоть плачь: собери попробуй, если оно просто так, как придется, сверху налито. Сколько раз из-за этого приходилось прямо с маслом эту кашу и есть. Во-вторых, по столовой обязательно кто-нибудь из пионервожатых взад-вперед разгуливает — дежурит. Значит, из-за стола с этой ложкой надо так изловчиться встать, чтобы дежурный тебя не заметил. Одну девочку из отряда из нашего как-то раз так увидели и такой на весь лагерь крик и шум сразу подняли, что она потом и вообще-то обедать ходить перестала: кто-нибудь из ребят приносил ей в палату хлеб ее и печенье. И воровкой ее тогда обозвали и черт знает как еще. А почему воровка, если она со своей же собственной каши масло в стакан собирать несла? Значит, если б съела его, не воровка, а не съела, берегла для кого-нибудь, кому очень нужно оно, так воровка. Хотя, конечно, если уж люди ни с чего, без разбору орать начинают, тут и воровка у них может быть и кто хочешь. Я так со злости в тот раз даже подумала, что, наверное, они сами, которые это кричали тогда, из

столовой еду воруют, а то разве такое про человека подумаешь лопросту?

И в палате в своей этот стакан несчастный тоже с умом хранить надо было. Чтоб на виду не торчал, чтобы не растаял, или еще что-нибудь с ним такое же не стряслось бы.

В нашем отряде кой у кого тоже такие стаканы были. Даже у двух мальчишек. Только они скорее бы зти стаканы выбросили, чем лризнались. Но я-то их в овраге не раз видела, как они там с ложками лробирались.

Ну, а в общем-то ерунда все это, конечно. И ложки, и стакан, и масло. Непонятно только, из-за чего все-таки мама заллакала. Ведь война когда еще не кончилась, разве б мне насобирать где-нибудь, хоть и за месяц за целый, да и за два даже месяца, стакан масла сливочного? И думать нечего. А тут пожалуйста. Безо всяких карточек, без талонов, без справок и прочего целехонький стакан настоящего масла сливочного. Просто счастье, по-моему. С чего плакать?.. Хотя в общем-то я догадываюсь, наверное. Вспомнила она что-нибудь тяжелое, может. Как за хлебом ло семь — по восемь часов на морозе простаивали. Или еще чего-нибудь такое... Мало ли. Есть ведь тогда нечего было, и вообще всякое. Вспомнишь — заллачешь. Обидно только, что никакой от него радости не лолучилось, от стакана от зтого... Все-таки масло сливочное, даже топленое почти что можно сказать и без всяких тебе без талонов, без очереди... обидно.

без названия

Памяти Ю. Л. К.

Мне было восемнадцать, когда я тебя увидела. В застиранной гимнастерке и в новых серых брюках со складками. Я уже не была ребенком, нуждающимся в дололнительном литании. Но никто зтого, наверное, не замечал. А вот ты догадался, что я почти взрослая девушка. Ты первый. Даже раньше, чем я сама. Интересно, как ты все-таки догадался... из-за косы, наверное. Коса, правда, была что надо. И как это от нее так скоро ничего не осталось...

Ты мне купил тогда мороженое. Ореховое. Ореховое оно лросто так называлось — никаких орехов в нем не было. Но мне все равно было жалко есть его. И я его мусолила и мусолила, пока из бумажки не начало капать. И даже капнула тебе на брюки. А ты не рассердился. Это я тоже, как сейчас, помню — совершенно не рассердился. И я до того удивилась, что капнула еще. А ты все равно не рассердился, только забрал у меня бумажку и быстро все доел. И когда ты это сделал, я поняла, что теперь уже я не смогу без тебя. Я испугалась, что ты уйдешь, и схватила тебя за локоть. И мы лошли с тобой лод руку, и я шла, как настоящая девушка, ошалев от счастья и гордости, и умирала от желания, чтобы все меня видели и знали, как ты кулил мне мороженое и как я нечаянно на тебя накалала, а ты не рассердился.

А лотом мы ходили в кино, и ты олять купил мне мороженое. Что́ там локазывали в кино, я не помню, лотому что все время думала о том, как ты не рассердился. Но скоро я ислугалась, что ты слросишь, понравилось ли мне или еще что-нибудь лро кино, и стала стараться понять, лро что оно, но зто мне все не удавалось, и тут как раз зажгли свет и надо было уже уходить.

Про фильм ты ничего не спросил, а спросил, можно ли лроводить меня. Я испугалась, что ты передумаешь, и очень громко и почему-то басом сказала, что можно, и ты улыбнулся. Конечно, это смешно, если вдруг ни с того ни с сего начинают говорить басом, да еще так громко...

Потом мы еще ходили в кино, много раз, и я так и не сумела запомнить ни одного фильма. А потом я лросила маму, чтобы она лозволила мне выйти за тебя замуж, а мама все говорила, что, конечно, вообще она лозволит, но пока зто не горит, лотому что мне восемнадцать. А я просила и просила и даже лринималась плакать. Мама тут совсем удивилась, потому что раньше я никогда ни от чего не плакала, и сказала, что ладно, лускай я сделаю, как хочу. Я хотела быть с тобой и сразу же к тебе приехала, даже не дождавшись, лока мне купят новое платье и чулки.

Чулки ты купил мне сразу же сам, настоящие, тонкие, с черным-пречерным швом и черными лятками. А платье потом купила мама. И еще халат и две ночные рубашки.

А ты каждый день покупал мне сыр и обещал накормить маслинами. Я лро них всю жизнь везде читала и думала, что очень их люблю.

Скоро я стала бояться. Бояться, что будет война и тебя убьют. Ты жалел меня, что я так боялась, и стал говорить, что войны не будет. Я очень хотела верить тебе, но когда ты сказал в третий раз, что не будет, я стала бояться еще больше...

Как-то раз мы лошли в театр, и там было очень жарко. Ты свернул лрограмму веером и стал махать на меня, как на какую-нибудь лринцессу. Я не выдержала и разревелась. И все люди вокруг посмотрели на меня и удивились, потому что слектакль был очень смешной и я сама только что хохотала громче всех в нашем ряду.

Я расстроила тогда тебя ужасно, и ты сказал, что даром ничего не проходит и, если бы не алиментарная дистрофия, нервы бы у меня были телерь в порядке. Я считала, что у меня и так все в порядке. но ты все-таки отослал меня в санаторий.

В санатории было очень скучно. И лочему-то ужасно много толстых и лысых стариков. Они ходили ло одному и ло двое и все слрашивали, сколько мне лет и в каком я учусь классе. Один особенно толстый сказал еще, что он поэт и лишет здесь стихи. Я удивилась, как это он такой толстый может лисать стихи, и испугалась, что он, чего доброго, захочет читать их. Но он не захотел, потому что, наверно, и влравду был поэтом и, может быть, даже догадался, что я не хочу слушать его стихов.

Я написала тебе в письме про толстых стариков и что очень хочу домой. А ты велел, чтобы я наплевала на стариков и доживала весь срок, сколько полагается. Полагалось еще очень много, и мне стали сниться сны. Я все ожидала увидеть тебя, а видела почему-то город, в котором жила, когда под Москвой были немцы.

В зтом городе было очень холодно и совсем нечего есть. Мы сначала ели заваруху из отрубей, лотом оладьи из картофельных очистков, а потом, кажется, вообще ничего не ели, хотя, конечно, что-нибудь все-таки ели. Мы лродали на толкучке все вещи, и я ходила в школу в жакете, сшитом из старого одеяла. В этом жакете я и приехала в Мо-

скву и пришла в гости к давнишней своей подруге, которой было уже четырнадцать лет и которая носила заячью шубку. По правде говоря, пока я не явилась в этом жакете в гости, он как-то особенно и не мешал мне. А после этого раза я, как надевала его, так все время о нем и думала, и даже не о нем, а о том одеяле, из которого он сшит. Одеялом этим накрывалась до войны няня, и тогда оно мне очень нравилось. А в гости я больше не ходила.

В общем, я не любила вспоминать об этом городе и обо всем, что с ним связано. И надо же было, чтобы я вдруг начала видеть про него сны. То я иду в школу, а думаю, что лучше бы мне за кипятком встать в очередь; то будто бы я покупаю на базаре репу и хочу эту репу поделить на весь наш коридор, а она никак не делится, и тогда я заглатываю ее, не кусая, и она распирает мне сердце; то как будто мы топим железную печку, а из нее вдруг как повалит дым, и вроде бы надо открыть дверь, чтобы дым вышел, но жалко тепло выпускать. Наутро от этих снов голова разламывалась, а жить в санатории надо было еще чуть не две недели.

Две недели все-таки прошли, и я уехала. А летом мы стали собираться на море. Я вообще никогда не видала, какое оно, море, а ты жил в Крыму, когда тебе пять лет было. Ты мне показывал карточку, где ты в барашковой папахе, с саблей и в сапогах стоишь на берегу моря. Я еще удивилась, зачем это надо у моря стоять в меховой шапке. Но если пять всего лет... А море на карточке было настоящее.

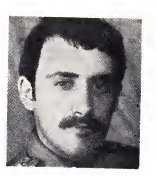
Мы все собирались, собирались к морю, а потом не поехали. Не хватило денег. Мы почему-то раньше про это не думали, а думали только про море. Но оказалось, что про это тоже думать надо было. В общем, мы отступились на время, но про море не забывали. И долго еще думали о нем вдвоем, а потом втроем — дочка тоже захотела на море, когда я ей все рассказала и показала карточку, на которой ты стоишь с саблей и в папахе. Я уж не знаю, что ей больше понравилось — море позади шапки или сама шапка, но она долго смотрела на карточку, а потом сказала, что она тоже хочет на море.

...Да, к чему это я? И не к чему вроде бы. Все это было давно, словно в прошлом столетии. Тебя нет больше с нами... В доме нашем, в гостиной стоит темный пень — клен, который ты посадил, когда окончил девятый... Мы с большой нашей дочкой перекладываем покореженные от старости и бед фотографии, я гляжу на тебя в гимнастерке, в ремнях и все еще боюсь, что будет война и тебя убьют.

Игорь Тарасевич







Игорь Тарасевич работал инструнтором по обучению езде на мотоцикле, мастером на стройке. Закончил МИИТ, сейчас учится в Литературном институте.

✪

Каспий, волны кати по земле
в серебре,
в январе,
в непогоду,
чтоб проснуться я мог на заре
и смотреться в холодную воду.

Не скудей же, прибой, отступив!
Передышка — и снова на суше
расплещи монотонный мотив,
возвышающий юную душу.

Чтоб прибрежным посадкам под стать,
я бы слушал тебя молчаливо,
чтобы корни могла напитать
неизбывная сила прилива.

Каток

Первым холодом землю связало,
подо льдом затихает вода.
на протяжных путях от Хазара [1]
наступают опять холода.

Я люблю перемену погоды.
Мне при этом на сердце вольней.
Признавай несвободную воду!
Будем вольно кататься по ней.

На дорогах — катки в каждой луже
подморозит с расчетом земля.
Проезжающий кружит и кружит,
вырисовывает вензеля.

Так по рекам, ручьям и заливам
прокружить свой намеченный путь,
пролететь, задыхаясь счастливо
зимним воздухом, полнящим грудь.

[1] Хазар — Каспий (азерб.).

Валентин Сорокин



✪

Здравствуй, ромашка моя,
Яркая и луговая,
Светом родные края
Ты разбуди, овевая!..
Ветер ночной пробежал
И за рекой задохнулся.
Белый туман задрожал,
Лебедем вдруг колыхнулся.
Тропы чернеют видней.
В рощах от грома усталость.
Сколько доверчивых дней
Нам удивляться осталось!
Жизнь обновленьем права
И скоролетной красою.
Губы твои, как трава,
Пахнут зарей и росою.
Солнце над лесом горит,
В небо летя голубое.
— Здравствуй! — оно говорит
Нам, дорогая, с тобою.

✪

Еще мои порывы, как в начале,
И молодость живая торжествует,
Но слово
тихо полнится печали:
Всему на свете мера существует.
Всему, всему, и ты прости за это,
Что облаком сверкающе-крылатым
Я пролетал над вольным русским летом,
То ветрами, то гро̀мами объятым.
Одна ты, отдаляясь, вырастала,
Я тосковал и мучился простором.
Без Родины звучания б не стало
В моем стихе, распахнутом и скором.
Наверно, мать меня приговорила
К полям и к селам, к городам великим
И ясностью такою одарила,
Что невозможно сделаться безликим!..
Среди забот, среди трудов упорных
Не часто мне в пути светило солнце.
Когда сомкну глаза свои покорно,
Земля Отчизны стоном отзовется.
И ты прости — заветом нерушимым
Я осенен и болью многолюдной:
В России жить,
как двигаться к вершинам,
А умереть, подобно песне чудной!..

✪

Месяц с облака скатился
И пропал между лесов.
Хорошо, что я родился
На земле своих отцов,
Где поет пурга тугая,
Дождь танцует наяву.
Море на море взбегает,
Синева — на синеву.
Где вовеки нерушимо
Для меня для одного
Ты спускаешься с вершины
Таганая моего.
Или с ясностью славянской
По тропинкам старины
Ты выходишь из рязанской,
Разудалой стороны.
Сквозь житейские буруны
У твоих веселых ног
Пусть звенят стальные струны
Очарованных дорог.
Где, как сказка-небылица,
Страсть и верность не тая,
Прошумит и растворится
Жизнь безумная моя.

✪

Отшумел и угасает день.
И тепла покуда не суля,
Ледяная солнечная тень
Медленно ложится на поля.
Те поля и голы и пусты,
Ни травы, ни птицы,
лишь ветра
Пригибают черные кусты
И шумят в ложбинах до утра.
Так шумят и воют по ночам,
Что из древней, жуткой темноты
Наклоняешься к моим плечам
Верная, пылающая ты.
На костер похожая чужой,
Рвущийся из холода в зенит.
И не зря над Родиной большой
Голос твой то плачет, то звенит.
То зовет меня в туман, в туман,
В те края, где трепетно всегда
Смотрит в неспокойный океан
Чья-то одинокая звезда.

✪

Ветры свежестью дышат земной.
Снег шуршит в родниках и томится.
И какая-то странная птица
Все звенит и звенит надо мной.
Изумрудные перья горят.
То ли родинки,
то ли веснушки
На груди у нее, на макушке,—
Нет в округе такой, говорят...
Принялись головами качать
Сосны в солнечном ритме заветном.
Обернуться бы юным и светлым
И в окошко твое постучать.
И сказать: — Я доверчивый зверь,
Лаской девичьей в бурях забытый! —
Ты ответила б: — Вправду открыты
Для тебя и калитка и дверь! —



Лариса
БАБИЕНКО

ЖИЛ ТАКОЙ ПАРЕНЬ...

Рисунки
Л. КУЗЬМОВА.

Его удивляло, до чего же тесно в этом лесу ветвям — белке не пролететь, птице не вспорхнуть. Деревья жались друг к другу, кололись хвоей, завернувшись в мох едва ли не до вершин.

— Наверно, это из-за сильных морозов,— думал Толбак Лолаев.

Он очень робел перед этим северным пихтовым лесом. Особенно ночью. Идти одному по горным распадкам мимо аспидно-черных хвойников, базальтовых глыб...

— Боишься, Толбак! — подтрунивали ребята.

— Нет, вроде бы я не трус. Это другое. Совсем другое. Как-то непривычно.

— Но и у вас в горах есть леса?

— Э, какие леса, знаешь? На четвереньках сидишь,— человека не видно. А привстал, тебя, как беркута, за километр заметно. Фисташковое дерево на метр к солнцу, на три в землю растет.

— Привыкнешь. Еще на сверхсрочную останешься. Вон как глядишь на багульник. И мороз уже нипочем...

— С ума сошли! — расхохотался Толбак.— Я и снег? Совместимо ли? Тепло — самое лучшее, что может быть на свете. А тепла здесь ровно столько, сколько пшеницы, которую за Полярным кругом на площади выращивают вокруг памятников, словно цветы, небольшими клочками. Да вы сами видели, еще удивлялись. Вот у меня на родине...

— Безбрежно, хочешь сказать?

— Да нет, тоже клочками. На одном лапчатом отроге, на другом.

— Но почему так мало?..

— Не в каждой долине есть вода. Но вода придет, обязательно придет. Много для этого делается. Слышал когда-нибудь о Нуреке? Жара. Дикая. А у райкома в хаузе белые лилии. Чуть повыше у горы Сундук — море. Новое. Как голубой кусок льда.

Кидая друг в друга снежки, ребята шутили:

— Все понятно. Хорошо объясняешь. Пшеницы будет много, и ты хочешь домой. Невыносимо хочешь.

От дружного смеха метнулась из-под куста тундрянка — местная куропатка с оперенными, как белые мягкие подушки, лапами.

— Чудак человек,— объяснил ему сержант.— Второй день на тумбочке лежат два письма: от сестры и Татьяны.

Пока Толбак удивленно глядел на сослуживцев, кто-то сказал:

— Ребята, а ведь мы скоро расстанемся. Один уедет на Украину, другой в Дангару. Вон рядовой Лолаев уже пять минут не может закрыть рот от счастья.

— Так неси фотоаппарат!

У пихтового могучего леса замерли семеро молодых крепких парней в солдатской форме.

«Ты пишешь,— читала через несколько дней Татьяна,— что очень переживаешь за нашу встречу, не знаешь, как к ней отнесется отец, позволит ли видеться? Не переживай, Таня! Поладим с твоим отцом. Вернусь когда, пойду на Себистон, на строительство туннеля, быстро заработаю на какую-никакую коровенку, на две овцы, чтоб свадьба прошла весело. А тебя, конечно же, ждет красивое платье. Думаю, отец будет доволен: мол, обычаи соблюдены, перед пожилыми людьми селения не стыдно. Все те предрассудки, что еще бытуют у нас, по-моему, серьезны как тень от фигуры — видимости больше, чем сути.

Нет, Таня, для меня претензии твоего отца не очень страшны. Я сильный, ради нас сделаю многое, поднатужусь, не переживай. Только не обижайся, потом некоторое время будем жить скромно, надо помочь моим младшим братьям и сестрам, сама знаешь, пенсия у матери невелика...

Так что решили, встречи нашей не бойся!.. Жди!»

В доме с розоватыми стенами на улице Рудаки распахнуты окна. На цветных одеялах сидят старики.

— Где же Толбак разыскал таких сватов? — подглядывая в дверь, смеялись тихонько сестренки.— Глянь, Таня, у этого борода со знаком качества.

— А тот слева, ну и толст...

Старики пили чай, пробовали халву, печенье. Наконец отец крикнул: «Мать, неси плов». Через не-



сколько минут на скатерти появился тяжелый поднос.

— Жених у нас работящий,— неторопливо говорил тот, что с длинной бородой,— задумал дом строить, говорит: и стены один сложит и полы настелит. Видел, наверное, уже кирпичи делает за селением.

— С Толбаком не пропадешь,— добавляет другой,— матери, сестрам подарки привез, поднакопил солдатских получек, а что там в месяц дают, известно...

— Татьяну давно любит,— подхватывает первый сват.

— В Дангаре нет человека, который не знал бы этого,— молвил второй.

За окном начал постукивать дождь. Уберегая ягоды от влаги, тутовник поднял листья, будто ладони. Капли падали в эти зеленые чашечки, наполняли их до краев, потом трепещущие бадейки выплескивали влагу подальше от дерева.

«Ах если б и жених мой так же,— глянув на дерево, размечталась Таня,— как беда, вскинулся бы, взметнул руки и в сторону ее, окаянную, к краю дороги, в арык. Утонула? Пошли дальше...»

— Словом, жизнь сейчас в каждом доме хорошая,— неторопливо лился разговор за дверью,— в кишлаках теперь даже кошки пьют парное молоко.

— Тьфу ты, Ибрагим, придумаешь,— добродушно рассмеялся отец,— а что поглощают после войны наши черепахи, ты еще не выведывал?

— О нет, забыл спросить...

Девчонкам же в комнате Татьяны не терпелось:

— Когда только они скажут: слава аллаху, ты дал нам хорошую девушку?..

— Папа сегодня веселый, настроен по-доброму.

За окном тяжело вздыхала под сапогами прохожих глубоко промокшая земля.

— Руки золотые у парня — это, конечно, хорошо,— твердым голосом заговорил вдруг отец,— но в жизни, особенно в начале ее, нужно еще кое-что...

Сваты мгновенно подхватили:

— О, Аслетдин, свадьбу сыграем веселую, гостей угостим так же хорошо, как ты нас. Девушку ждут дары... Пусть молодежь веселится, как тысячу лет до них не веселились!

— И это все? — жестко спросил отец.

В той комнате будто оторопели, потом послышался скрип половиц, сваты безмолвно собрались домой.

На прощание один из гостей сказал:

— Эх, Аслетдин, мы тебе сына однополчанина сватали, а ты? Тебя послушаешь, в каменный век потянет. Недоброе все это, глупое...

Хлопнула дверь, старики, какие-то по-особенному сгорбленные, будто приниженные, шли к калитке.

— Чего ж ты сидишь? — крикнула вдруг сестренка.— Тебе дороже калым или Толбак?

Она засуетилась, кидая в старый платок расческу, заколки Татьяны, платья.

— Ведь он теперь навсегда обидится. Разве ты крольчиха, которую крепко держат за уши, или дарвазская овца, что нужна лишь для обмена? Где твой характер, где твоя гордость?..

— Желаю счастья, дочка,— быстро у двери поцеловала Таню мать.

Через пять минут вслед за сватами с маленьким узелком в руках, как ни тяжело ей было, ушла из дома Татьяна.

Виноградник еще не обвивал этих стен. Ни один тополь своей хотя бы молоденькой, подросшей на глазах кроной не оборонял эту крышу от дождя, ветра, пыли. Дом в глубине двора только возник, последний раз его штукатурили вчера до пяти утра. И все лучи, даже самые жаркие, находят нужным непременно заглянуть в окна — Лолаевы не успели купить занавесок. В доме еще нет крючков, запоров.

— Когда же мы купим стулья? — вздыхает Татьяна.— У нас еще нет...

— Самый безграмотный турецкий паша легко перечислит, что есть,— смеется Толбак,— один да один... словом, дом и мы...

— Но дом еще не достроен! Соседка беспокоится, как могли въехать, сыро еще...

— Устраивает и так. Не дует.

Они живут в полной гармонии друг с другом, людьми, ветром, солнцем. Мир их, большой, теплый, понятен всем, виден, будто светлое кучевое облако.

— Надо бы сегодня покрасить полы...

— Не выйдет. Я вернусь очень поздно.

Он повернул к ней лицо, сияющее, как у ребенка.

— В белой футболке на работу? Там же везде масло, мазут?

— Я отстираю сам. Не волнуйся. Понимаешь, дали новую машину. Я ее и до армии и после армии ждал.

О его особой привязанности к инструменту, механизму, будь то стамеска, фуганок или двигатель, Татьяна знает давно. В школьные годы на уроках труда Толбак получал лишь пятерки. Дадут классу задание выстругать доску, быстрее всех, самой гладкой доска выходила у Толбака.

— Это ведь праздник — новая машина.

Татьяне представилось: уедет сейчас Толбак к подножию гор, глянет на старческие изломы пород, белые подтеки солей, остановятся возле его машины геологи, попросят воды, возвращая кружку, пошутят: «Ищем газ, нефть, здесь никто тут ничего не терял». После их отъезда Толбак опять до звезд будет работать — от нового руля его, конечно же, сегодня не оторвать.

— Нынче куда отправят?

— В совхоз «Фахрабад».

— Опять на нарезку террас в ущельях или обсадку адыров?

До чего же не любила Татьяна, когда в «Сельхозтехнике» эти виды работ выпадали Толбаку! «Там же скорпионы, змеи, с крутых склонов вместе с трактором можно упасть»,— целый день волновалась она.

— Зато миндаля потом будет много.

— Лучше бы ты ушел работать на Себистон!

— А там камень на голову вдруг свалится? Да и тебя ведь не пришлось бы видеть неделями! Шестьдесят километров каждый день не поездишь.

Выгладив джинсы, Толбак сказал: «Я готов». Подойдя ближе к Татьяне, попросил:

— Не вышивай долго, тебе ведь уже сидеть тяжело.

— Ладно, ладно. Иди, опоздаешь,— махнула рукой Таня. Толбак глядел на нее через окно, и глаза его, черно-огромные, тревожили, как никогда. Хотелось идти за ним, чтобы уберечь от неудачного шага — первой увидеть камень, бугор, предостеречь от дурного взгляда, попридержать бульдозер, когда тот спускается с высокой, в частых крупных каменьях, пашни.

— Я прошу, береги себя, не думай ни о чем,— произнес Толбак и лишь после этого отступил к калитке.

В тишине, в одиночестве Татьяна вышивала долго, до устали, затем прогулялась по комнатам.

«Здесь надо еще раз оштукатурить, а тут переделать бы шпингалет...»

В форточку ворвались крики людей, сирены пожарных машин. Прибежала соседка, схватила лопату.

— Что случилось, апа?

— Поле горит. В колхозе имени XXII партсъезда. Муж бежит туда. Толбак не там ли?

— Нет, он в другом хозяйстве.

Долго опять сидела за работой Татьяна, пока не прибежала вновь соседка да не крикнула: «Ой, милая, ты же еще ничего не знаешь!..»

— Он высок и красив, мой брат. Настоящий таджик,— рассказывает Махбуба.— Шел по селению, девушки все оглядывались. У него нежная тонкая кожа рук. Хороша, как прохладный шелк. Ай, хороша!

Черноволосая кареглазая женщина, на вид очень юная, ни за что не сказать, что мать двоих детей, печально замолкает. Махбуба — медицинская сестра Дангаринской больницы — сама обрабатывала глубокие, мокнущие едва ли не до костей раны брата, сама приникала к его изголовью, успокаивала: «Потерпи, все пройдет. Еще немного». А когда тот чуть-чуть забывался, бежала к хирургу.

— Мансур Дасиевич, Толбака можно спасти?

Хирург Дасиев грустно смотрел на свою работницу.

— Сок от арбуза даете? Не отходите ни на минуту. Сейчас будем вливать плазму.

— Там Татьяна. Скажите...

Большой грузный человек за столом — хирург опытный, одаренный, спасший недавно председателя колхоза, у которого ножевым ранением были нарушены печень, почки, желудок,— врач, проходивший специализацию в Москве, Ленинграде, Киеве, печально сказал:

— Да, можно спасти Толбака. Если поставить новые легкие, бронхи, гортань...

— Я помню его в детстве удивительно мягким, участливым,— продолжает Махбуба.— Как-то в восьмом классе...

Дорога за поселком, как пудра, топнешь ногой — и в лицо сразу пахнет желтое облако. Толбак торопился: в лесничестве начался сбор фисташек, и, хотя подростков на крутые склоны не брали, он шел к знакомому леснику.

— Не почудилось ли мне? — остановился мальчишка, услышав какой-то крик за стриженым крупнолистым тутовником, откуда тянуло влагой пруда.

Он нырнул под тяжелые ветви и увидел двух тонущих малышей...

— Было бы нелепо и просто ужасно, пройди Толбак мимо,— заговорила Татьяна,— жизнь ребят зависела только от него. Но мой муж приходил первым и тогда, когда вокруг стояло много мужчин. Помнишь, Махбуба, горел у соседей дом? Все мялись, уже падала кровля...

Опустив глаза, она, наверное, видит, как под ночными звездами на темной стене Лолаевского домишки мечутся яркие тени — кто бежит к телефону, кто ищет воду, ведро. А в огонь кинулся лишь Толбак. И вынес ребенка...

— В этот момент я просто любовалась им,— поддерживает Махбуба,— я поняла, как он щедр, как хорошо рядом с ним и жене, и нам, и даже случайным людям. Он, будто скальный грунт, крепкая опора каждому.

На полу среди пиал и подносов с лепешками появляется старенький семейный альбом — вот семья Лолаевых, когда еще жив отец, рядом с ним трое сыновей, четверо дочерей. Вот Толбак в Курган-Тюбинском училище механизации, группа ребят в новеньких комбинезонах копается в моторе старенького трактора. А вот он в плотном кольце веселых людей, его провожают в армию.

— На каждой карточке он посредине, в самом центре,— задумывается глубоко сестра,— хоть бы когда с краю оказался, сбоку или за спинами.

— Приотстал бы хоть раз... на минуту,— вторит, как эхо, жена.

— Это о Толбаке? Замедлить шаг или движение, когда где-то беда? Татьяна! Разве наш отец не бросался в огонь, когда погибал Смоленск?



Став на колени, Татьяна опускает голову.

— Да, можно ли иначе, но иадо же иногда кое-что оставлять и себе? — не договорив, жена Толбака отворачивается к стене...

...К полудню работа замедлилась. Бульдозер неохотно отступал от темно-рыхлого вала. Тяжелые душные волны тепла захватили его, словио в кокон. В зтот час даже не верилось, что в каком-то другом краю среди диких таежных распадков может нежиться снег.

Толбак вытер платком лнцо, взглянул на далекие ребра хребтов, на длинные, как лисьи хвосты, коридоры пшеницы перед селеиием Кизил-сай.

— Не дым ли? — подумал он, увидав над полем легкий зыбящийся мираж.

Клубок потемнел и загустел.

— Что же я сижу? — Кинув кепку на рычаг, Толбак выпрыгнул из машины.

— Парень, бежим, в колхозе горят посевы! — пихнул кто-то Толбака в бок,— может, еще загасим?

Горячий воздух, как плетью, стеганул по рукам.

— Выдергивай стебли, лупи его, лупи! — захлебывался от дыма незнакомец.— Видишь, мы уже не одни. Бегут. Даже с лопатами.

— Пусть гасят там, нам обогнуть иадо,— заслоиившись рукой от искр, крикиул Толбак.— А мы навстречу...

Две золотистые, как пшеиица, фигурки метнулись вперед.

— Куда вы? Назад! Там везде огонь! — кричали люди с лопатами, ио парии ие слышали.

— Ну и работенка досталась! — еще шутили оии, и не заметили, как за ними замкиулось кольцо огня, как взвихрился ветер, как бугор, которого оии достигли, вспыхнул легко, будто сноп.

Первым зто увидел Толбак. Какой тоикий мостик в жизнь остался у иих — секунда! Одна на двоих. Кто воспользуется? Над долиной роскошное небо и медвяиые травы в горах. Секунда. Одиа. Толбак был очень силеи и мог прихватить ее жадио, как сочное яблоко, как лед в жаркий полдень, как безмерной цены голубой бадахшанский лал. Он так и сделал, зацепил и... отдал другому.

— Падай! Падай иа землю! — крикиул бульдозерист онемевшему парню.— Катись же... Там сырая трава...

Но поди зиай, что думал тот, мучительно отхаркиваясь от горящих остей. Да и слышал ли вообще? И тогда Толбак что есть силы швырнул парня к прохладной ложбинке сая. Лицом вверх, лицом вниз катился тот по горящей траве. А пришел в себя Холмурод Мухитдинов, шофер республикаиского отделеиия «Сельхозтехника», лишь в больнице, увидел — руки в биитах, голова, грудь, ноги — все стянуто, связано, все в белых повязках.

— Что со миой? — спросил он наклоиившегося над иим человека.— Я умираю, ака?

— Тише! Твои дела лучше, Холмурод. Зиачительно лучше...

— А рядом кто?

— Тот, с кем ты вместе гасил пожар. Толбак. Знал его раиьше?

Больиой покачал головой.

— Ему трудно сейчас, очень трудно. Долго дышал раскаленным воздухом, если б чуть меньше...

— Значит, вслед за мной в ту ложбину прыгнуть он ие успел? — растерянно глядел на врача Холмурод.

Когда по таджикскому телевидению показывали фильм о Толбаке Лолаеве «Горящий хлеб», Татьяна вышла из комнаты.

— Тяжело на зто глядеть, не могу,— сказала она.— Почему я его в тот день пустила на работу, почему не пошла вместе с ним?

Жеиской самоотверженности, как всегда, нет меры, как всегда, нет цены.

Лишь когда погасли в домах огни, а с плоскогорья потянуло стылым ветром, ушла с веранды Татьяна, хотела было накрыть телевизор, но замерла. Отец ее, человек суровый, сдержаиный, змоций можно ждать месяцами, глядя на давно погасший зкран, бормотал с глубоким раскаянием:

— Прости, сынок! Прости, аллах знает, что со мной тогда приключилось! Ведь сам женился без калыма, какой у солдата калым, знаешь ведь! И там, иа Руси, где служил, отдали мне в жены русоволосую девушку. Видишь, у Татьяны глаза раскосые, а имя русское и руки белые. Прости, сынок, ведь я отец нескольких дочерей, как за каждую не бояться? Хотелось устроить получше. Решил по глупости, из-за плохой головы решил, что лучшее — зто деньги. А ты дороже всех цеииостей оказался. Пусть земля тебе будет пухом, ты нас многому научил. А меия особеино — щедрости, добру.

Я пишу о человеке, которого не видела иикогда, не знала походки, не слышала голоса. Никогда не увидит его и ребенок, что появился у Татьяны уже после гибели Толбака. Пусть зтот рассказ поможет впоследствии малышу узнать о том, каким чудесиым человеком, каким смелым и беззаветным был его отец...

Таджикская ССР,
пос. Дангара.

